

На обложке: Паспортная фотография Марины Цветаевой. Париж, 1939г.,
письмо в Литфонд и письмо сыну в день смерти 31 августа 1941г.

Das Bulletin wird seit 1975 herausgegeben.
Es erscheint vierteljährlich.
Der Herausgeber ist:

Бюллетень выходит с 1975 г.
Его издает четыре раза в год:

Tolstoi-Bibliothek
Thierschstr. 11
D-80538 München
Tel.: 089/299 775
Fax: 089/2289312

tolstoi@tolstoi-bibliothek.de
www.tolstoi-bibliothek.de

Redaktion und Verantwortung für den Inhalt:
Tatjana Erschow

Главный редактор:
Татьяна Ершова

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочтите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью — всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня —не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас на головах,
За то, что Вы больны —увы! —не мной,
За то, что я больна —увы! —не Вами.

3 мая 1915

Деревья! К вам иду! Спастись
От рёва рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано!

Дуб богоборческий! В бой
Всем корнем шествующий!
Ивы-провидицы мои!
Березы-девственницы!

Вяз – яростный Авессалом,
На пытке вздыбленная
Сосна – ты, уст моих псалом:
Горечь рябиновая...

К вам! В живоплещущую ртуть
Листвы . пусть рушащейся!
Впервые руки распахнуть!
Забросить рукописи!

Зеленых отсветов рой...
Как в руки – плещущие...
Простоволосые мои,
Мои трепещущие!

8 сентября 1922

Вячеслав Недошивин

ЦВЕТАЕВА И ПУСТОТА

Ах, карусель, карусель - детская забава. Давно ли вы катались на ней? И любите ли вы ее, как люблю ее я?.. Шучу! Но так, вообразите, могла спросить, да и спросила нас Цветаева! Не ребенком, не девочкой, даже не девушкой - женщиной в 30 лет записала: «Что может быть волшебнее карусели? Эти геральдические львы и кони точно с французского герба, эта музыка, эти невинно-блаженные лица взрослых и - наконец! - этот полет...»

С 11 лет обожала вертеться на карусели. Но я был удивлен, прочтя, что и в 1919-м она, в голод и разруху, до посинения кружилась с дочкой на какой-то уцелевшей «вертушке». Объяснения этой затянувшейся любви к каруселям, «впадения в детство» я бы, наверное, не нашел, если бы не слова Пастернака, поэта. Именно он, и влюбленный корреспондент, и заочный конфиденгент ее, написал как-то: «Талант есть детская модель вселенной для постижения мира с его лучшей и ошеломляющей стороны...» Талант, то есть это всегда немножко детство, первичность его в творчестве и младенчески чистые чувства художника. Не потому ли великий Блок незадолго до смерти так влюбился в «американские горы», что съезжал с них, по собственному подсчету, 80 раз? Не оттого ли Хлебников, тоже поэт и тоже великий, так полюбил в юности деревянные игрушки из Сергиева Посада, что в руках с одной из них даже умер? И не отсюда ли цветаевские карусели?

Да, в мае 19-го года, оседлав истертых лошадок на Воробьевых горах, Цветаева и Аля как ни в чем не бывало беспечно смеялись и веселились. Война, пропавший на фронте муж и отец, аресты и расстрелы вокруг, а они, летя по кругу, радовались забаве. Через 3 года в мирном сытом Берлине, найдя в «Луна-парке» богатую, как «праздничный торт», розово-малиновую карусель, обе, напротив, не улыбнулись ни разу. Даже друг другу. «Гордо и грациозно сидела в позолоченном седле моя строгая мама с каменным лицом, - напишет Аля, - отнюдь не веселясь, а как бы выполняя некий... обряд»...

Вот и все! Не начало эмиграции - вся эмиграция ее! Не жизнь - обряд жизни в Берлине, Праге, Париже. 17 лет эмиграции - верчение судьбы, круговерть быта, колесо забот, а по сути, адская карусель разочарований, обид, предательств. «Карусель», которая не «детскую модель вселенной» разорвет (она ведь в эмиграции бросит писать стихи) - хребет переломает. Погубит, может, единственное, что было дорого ей в жизни - семью.

Гора и горе

Хотите анекдот?! Грустный, но зато оттуда. Так вот, в 22-м в Берлине собралось вдруг столько беженцев из России, столько русских кафе, редакций и театров, что какой-то немец от «тоски по родине» повесился. Не очень-то смешно, особенно ныне - в эпоху мульти-культурализма. А если серьезно, то русских в Берлин съехалось тогда свыше 100 тысяч. Это факт! Но и в кафе, и в забитых по крыши отелях, среди гогочущей или рыдавшей эмиграции она не нашла одного - того, ради кого и рвалась на Запад. Сергей, муж, учился в Праге в университете, и приезд его затягивался. Вот когда три года разлуки с ним показались короче трех

недель ожидания его, когда сразу и от всех она оказалась, по словам Али, далека, «как солнце», а все «существо ее» превратилось вдруг в «сдержанность и сжатые зубы». Берлин принял ее даже не литератором, напишет Роман Гуль: «Божьим ребенком в мире людей. И этот мир своими углами резал ее и ранил...»

Аля запомнит, как они отправились в самый большой универмаг, где мать, к ее удивлению, купила себе простенькое платье «дирдели-клейд» в талию, какие носили немки-подростки, и крепкие ботинки на толстой подошве, хотя все щеголяли в лаковых туфельках.

Тоже - «сжатые зубы». Она ведь и в нэпманской Москве запретила себе «пялиться» за сияющие стекла богатых магазинов. И вдруг уже в эмиграции, в каком-то кафе услышала от русского офицера, что в Уставе гвардии России была строка, прямо запрещающая заглядываться на витрины. Даже гадала потом: уж не было ли в роду ее реальных гвардейцев? А своему гвардейцу Сергею в том же универмаге, напротив, щедро накупила кучу подарков: теплое белье, носки, шарф и «для души» портсигар. Как рысь, рыскала по полкам в ожидании своего льва: так насмешливо - «Рысь» и «Лев» звали они друг друга до разлуки. Только вот к поезду мужа из-за поздней телеграммы «Рысь», увы, опоздала.

Когда ворвались на вокзал, он был гулок и пуст. Поезд Сергея, пишет Аля, ушел: ни пассажиров, ни встречавших. Обмирая от ужаса, обежали перроны, залы ожидания, камеры хранения, ресторан. Цветаева в синем платье, 9-летняя Аля в новой матроске - такие нарядные и такие несчастные! На слабеющих ногах выползли на белую от солнца площадь. «Марина, - вспомнит Аля, - стала слепо и рассеянно нашаривать в сумке папиросы... Лицо ее потускнело! И тут мы услышали: "Марина! Мариночка!.." С другого конца площади бежал... высокий, худой человек, и я, уже зная, что это - папа, еще не узнавала его...» Он летел к ним с незнакомым от счастья лицом и, добежав, раскрыл руки навстречу распахнутым рукам жены.

«Долго, долго, долго, - пишет Аля, - стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез...»

Плачут ли львы и рыси, не знаю, но стойкие гвардейцы, бывает, плачут. Второй раз разрыдаются оба, когда она, влюбившись, обезумев от страсти, уйдет из семьи, уйдет к другому.

(Из дневника Марины Цветаевой от 30.7.1923 г.):

«Просьба: не относитесь ко мне как к человеку. Как к дереву, которое шумит Вам навстречу... Вы же дерево не будете упрекать в "избытке чувств"... Мне все скучно. Заранее и заведомо. Когда я с людьми, я несчастна: пуста... Я выпита. Я не хочу новостей... гостей... вестей. У меня голова болит от получасовой "беседы"... Я становлюсь жалкой и лицемерной, говорю как заведенная и слушаю как мертвая. Я зеленею. Чувства, что люди крадут мое время, высасывают мой мозг (который я в такие минуты ощущаю, как шкаф с драгоценностями!) наводняют мою блаженную небесную пустоту... всеми отбросами дней, дел, дрязг...»

Она по-прежнему в Берлине, а потом и в Праге «выдумывала» себе «героев». Увлекалась выдуманным, разочаровывалась и вновь увлекалась. Здесь впопыхах влюбилась в Вишняка, издателя по прозвищу Геликон, кого через пару лет даже не узнает, здесь, получив из Москвы восторженное письмо Пастернака, начала долгий «эпистолярный роман» с ним, здесь закончила и опять-таки «заочный» роман в письмах с юным критиком Бахрахом. Пока не встретила невыдуманного -

«очного». «Люблю вертикаль, гору», - твердила в юности. А в Праге вдруг признается: «Горе началось с горы...»

Имя этому «гору» Константин Родзевич. Человек-загадка. Вернее, загадок, не разгаданных и поныне. О нем, кого муж ее презрительно назовет «маленьким Казановой», а дочь «ничтожеством», она напишет две великие поэмы. Сын генерала, дворянин, мичман, он, перейдя в революцию на сторону большевиков, стал красным комендантом Одесского порта, потом одним из командующих Нижнеднепровской флотилии, затем, попав в плен к белым, был приговорен к смерти, но помилован и вместе с армией Врангеля (за что уже красные приговорили его к расстрелу) оказался в эмиграции. Кстати, учился в Праге с Сергеем, был другом его. «Лукавый краснобай», «обаятельная посредственность», «мотыльковый позер» - так пишут те, кто знал его. Но почти все добавляют: красавец и отъявленный донжуан. «Чья же я преемница?» - смеясь, спросила его Цветаева в первые дни любви. «Ах, так, одна рвань, - усмехнулся он. - Все, что не вы, - рвань...» Знала бы, что из-за него и семья ее погибнет, и сама. Это, кажется, так. И благодаря открытым ныне свидетельствам я попробую доказать это.

От первого поцелуя с ним на пражской площади ее удержала слишком белая луна. «Идя домой, - напишет ему в ту ночь, - я думала... слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, чужого мальчика не люблю! Если бы любила... не оторвалась». Ей 30, ему 28. И ничего, даже поцелуя не случилось бы, если бы Сергей не уехал из Праги на четыре дня. Они и решили все. Тогда и запишет в тетрадь: «Я встретила с никогда не бывшим в моей жизни: любовью силой», тогда и попросит Родзевича в письме: «Держите меня крепче, не отпускайте, не возвращайте Жизни... После вас лучше смерть... Я в первый раз... ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать!.. Вы сделали... чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли... Мой Арлекин! Господи, прости меня за это счастье!..»

Дожди, мосты, фонари, отражающиеся в лужах, какие-то ночные кафе, рассветные рабочие забегаловки. И губы на груди до зари, и «поцелуи в ладонь», и долгая «совсем уже невыносимая нега», которой никогда не знала, и сон на рассвете в его халате, и уж совсем молодая записка ему перед новым свиданием: «У меня новая сумка – р-раз, новая зажигалка – два, новое платье – три, новая душа в теле – четыре... И как с горы бегу - в «воровскую страсть» с ним. И уже в гору долгие проводы до реальной, до Смиховской горы ее, горы-сводни, где стоял дом с комнатой в одно окно под самой крышей. Я видел в Праге и этот холм, и дом, где она прожила почти год. Спецкор «Комсомолки» отыскал его в начале 80-х на Шведской улице. И стоял на том полу где она, «истерзанная и полубезумная», затылком, плашмя отлеживалась после свиданий, и выглядывал за окно, из которого был виден весь город и у которого полвека назад ждал ее ночами Сергей, мучаясь только одним: как же это случилось?..

(Из письма Цветаевой Александру Бахраху):

«Как это случилось? О, друг, как это случилось?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет... "Связь"? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана... От руки до губ, где ж предел?... Я скажу вам тайну... Женщины любят ведь не мужчин, а Любовь. Потому никогда не изменяют. Измены нет, пока ее не назовут "изменой". Неназванное не существует. "Муж" и "любовник" - вздор. Тайная жизнь и явная. Тайная - что может быть слаще?..»

Через три месяца жизнь тайная - ее «жизнь под веками», была кончена. В последнюю встречу, выйдя из ночного кафе, не могли расстаться до утра. «Наша улица!», - сказал он. «Уже не наша», - ответила. «Ничего, ничего, не понимаю! -

бормотал Родзевич. Мне с вами хорошо!..» Ей тоже было хорошо; она, как последнюю молодость, себя последнюю, будет любить его и после прощания. Об этом «Поэма Горы» и «Поэма Конца». Она так любила его, что ревновала к толпе на улице, даже к любимому костелу его («больно, как от чужой жены»). Горевала, что не брал подарков - ни кольца, ни книги («мне нужна вся вы, а не часть»). Ходила с ним в какие-то отели («стыдно, платный Содом») и даже мирилась, что ее стихам он предпочитал стихи Гумилева. Ей вообще было любо, что он первый не подчинялся ей. «Всегда мечтала слушаться, ввериться, быть в надежных руках». А еще хотела общей крыши с ним. «Я не могу больше... по кафэ! От одной мысли о неизбежном столике межд нами - тоска, - написала. - Дом, где можно сидеть рядом... куда я все смогу приносить: от бытовых уютных пустяков до последних бурь своей души!.. Я хочу лампы, тепла, круга, чуть ли не кота на коленях. (У нас будет кот?)... Я хочу... знать, где Вы спите и куда смотрите, когда смотрите в окно. И... чтобы Вы, возвращаясь домой, возвращались ко мне, в меня...»

Увы, дом у нее был один, где ждал Сергей и где отпрыгнуло уже от стен слово «измена», которого страшилась. Вот тогда, написав Родзевичу: «Живу в аду, но люблю вас!», она и переехала к знакомым. «Две недели была в безумии, - напишет Сергей Волошину, другу, оставшемуся в России. - Рвалась от одного к другому, не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила... уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не дает ей ни минуты не только счастья, покоя...» «Счастье на чужих костях, - запишет и она, - этого я не могу...» Он почти кричит Волошину: «Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног... Уверена, что лишилась своего счастья... Ко мне слепость абсолютная... Раздражение, почти злоба...» А она тихо плачется в тетрадь: «Личная жизнь... не удалась. Это надо понять и принять... Причин несколько. Главная в том, что я - я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных - прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке... Попросту: слишком ранний брак с слишком молодым...»

Да, доля и воля, семья и любовь, абсолют - ее Сергей и обольстительный хаос - Родзевич. И впереди не жизнь - «обряд» ее. Кастрюли, переезды, стирки, рынки, чай на спиртовке для гостей, штопка одежды - тряпья, и вечные долги, и вечный вечер с помойным ведром. И «Не любить! Никому не писать стихов!» Ну разве не петля, не *кружение* дурацкой «карусели»?..

(Из «Записной книжки» Марины Цветаевой №14):

«У меня было имя... была внешность... у меня был дар - и все это вместе взятое... не принесло мне и тысячной доли той любви, которая достигается одной наивной женской улыбкой... Я остаюсь одна. И это всегда одна и та же история. Меня оставляют. Без слова, без "до свиданья"... И вот я... смертельно раненая... не способна понять - ни за что, ни почему... Но что же я все-таки тебе сделала??? - "Ты не такая, как другие". - "Но ведь именно за это и..." - "Да, но когда это так долго". Хорошенькое "долго" - вариант от трех дней до трех месяцев»...

Именно три месяца и длился роман с Родзевичем. Потом напишет, что при виде его «ничего не чувствовала». Нет, они будут встречаться до отъезда ее в СССР; он станет другом семьи, почти братом Сергея и товарищем его по работе на НКВД. К слову сказать, она только ему признается, что муж, кажется, изменяет ей. А он купит ей браслет, заранее выбранный ею, браслет с двумя львиными мордами. Как символ того, что она, Рысь, обрела уже Льва Второго - тайного. Он, правда,

усмехнется позже: «Она меня выдумала. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог...»

Но скажет это, заметьте, тот, кто реально станет героем-легендой: разведчиком, тайным агентом Советов в Париже, затем команданте Луисом Кордесом, командиром батальона подрывников в Испании, потом бойцом французского Сопротивления и узником фашистских концлагерей. Даже Аля, назвавшая его «ничтожеством», ближе к старости восторженно напишет: он оказался истинным, настоящим рыцарем... Переживет всех и Алю. Умрет в 88-м, в 92 года, в богадельне под Парижем. И может, на том только свете и узнает, что сын Цветаевой, как все упорней говорят ныне, был его сыном. Этим его донимали всю жизнь, перед смертью он даже скажет, что, да, мог быть отцом.

Загадка? Несомненно! Но еще большей загадкой станет первопричина гибели всей семьи ее - гибели, в истоках которой вопреки мнению всех цветаеведов стоял, как мне кажется, все тот же «второй Лев» ее, Родзевич - человек, как и она, никогда не менявший взгляд.

Шаг назад

Сына рожала в кругу огня. Невероятно! Посреди реально полыхнувшего пламени. Будто на костер взошла, как боготворимая Жанна. Рожала в обычной избе, которую снимала под Прагой. В избе и вспыхнул огонь. «Только не двигайтесь! - отчаянно крикнул ей Альтшуллер, врач. - Пусть горит!..» И поднял младенца, явившегося на свет. А она, лежа в кровати, курила и *улыбалась*. Ни крика, ни стога. Как в детстве, когда мать, ставя ей компресс при воспалении легких, нечаянно пришила его к ее коже и обнаружила это только на утро. «Что же ты молчала?» - спросила. «Я думала, так надо». Позже скажет: «Чувство стыда боли. Отец этому чувству - Дьявол...» Вот так и при родах - устыдилась криков. И лишь дьявол, наверное, сказал бы: откуда знала, что родится сын. Ведь еще пять лет назад, еще в Москве легко обронила - у нее будет именно сын, а на протесты подруги: «Ну как это можно знать?», весело рассмеялась: «И назову его Георгием...»

За порогом в ту ночь бушевала буря, как когда-то в Кунцеве, когда едва не погибла. Рожая, тоже чуть не погибла - спас Альтшуллер, врач-студент. Он писал: «Я оглядел комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и куска мыла. Не оказалось ничего: ни носового платка, ни тряпки». Набежавшие женщины, «целые полчища дам, по словам Али, с бельем, тряпьем, флаконами и лекарствами», вынесли мебель, вымыли пол, выдвинули в центр кровать и все вокруг чистоты ради залили спиртом. «Он-то и вспыхнул! - восторгалась потом Цветаева. - Взрыв синего пламени!..» Но куда символичней другое: рожала, образно говоря, в кругу русской литературы. Альтшуллер был сыном врача, который лечил Толстого и Чехова. Помогала ему жена Чирикова, писателя, чистую рубашку дала вдова Леонида Андреева, а крестным отцом сына стал сам Ремизов.

Впрочем, все это, фигурально говоря, было «шагом назад». И Чириков, и Андреев, и Ремизов - это была «литература» вчерашнего дня. У Цветаевой действительно была странная привычка: входя куда-нибудь, в любой дом или зал, она реально делала шаг назад. Это заметил один молодой поэт, и она похвалила его: «Вы предельно зорки: я действительно, шагнув, отступаю перед тьмой всего, что не я... Шаг назад после всех вперед, мой вечный шаг назад...» Так вот, что касается не старой - «новой русской литературы», которая в Париже мнила себя «единственной», то как раз она и не приняла Цветаеву. «Моя внешняя литературная неудача в исключенности из литературного круга... Некому

прочешь, некого спросить, не с кем порадоваться...» Круг огня, круг литературы, круг одинокого подвига...

(Из письма Цветаевой поэту Н. Гронскому):

«Я думаю, что в жизни не встречала такого непротивленца, как я. Что ни заставьте делать - буду, где и как ни заставьте жить - вживусь, втянусь и в этот сон... Точно я чужую жизнь живу... Друзей у меня нет, говорю это спокойно... Я к себе беспощадна, поэтому и другие. Это я задала тон. И не пеняю...»

Если б вы знали, как встречал ее Париж в 26-м! Первый же вечер, и сразу триумф! Ломились, как на Шаляпина. Так не встречали здесь ни Бунина, ни Мережковского, ни Тэффи. В проходах зала толпы, над головами стулья, крики, визг - картина грандиозная! Цветаева даже к сцене не могла пробиться. Милуков, бывший министр, думец, так и простоял весь вечер в дверях. И почти 300 безбилетников, не протиснувшись даже к открытым окнам зала во дворе, ушли. А она в чьем-то репсовом платье (своего просто не было), близоруко щурясь со сцены на овации, читала 40-й, 41-й, 42-й стих. «Вот поэт! - запишет студент Сорбонны и герой Белой армии Владимир Сосинский. - После Блока одна у нас здесь - Цветаева...» А Сергей, пробежавший весь вечер за спинами толпы во дворе, куривший папиросу за папиросой, напророчит: этого успеха ей не простят «поэты и поэтики». Зависть? Да! Но и костер ее справедливости! То небо ее - одно на всех.

«Царь-Дура», «кошка драная», «распущенная кликуша», «белая ворона», «порывистая дикарка», «вывихнутая бабенка» (Владислав Ходасевич), даже «психопатка с оловянными глазами» (Иван Бунин) - так звали ее в эмиграции. А она раз и навсегда ответила: «Никакая любовь не может погасить во мне костра справедливости, в иные времена кончившегося бы иным костром!» Вот этой справедливости и к красным, и к белым не простят.

Уезжая из Москвы, чуть ли не в последний день встретила на улице Маяковского. «Ну-с, - потрянула челкой, - что передать от вас Европе?» «Что правда здесь», - ответил он. В эмиграции, читая новые стихи его, все поймет про него: «Маяковский животное, в чистом виде скот. Было - и отняли боги. И теперь жует травку (любую)...» Но вот и шаг назад, и справедливость ее! В 28-м, попав в Париже на вечер Маяковского, она уже на его вопрос: «Что скажете о России теперь?», прямо ответит: «Сила - там». То есть в России. Сила, давящая все, и впрямь исходила уже из СССР. Но слова эти, тогда же напечатанные, плевков в эмиграцию, станут роковыми. На четыре года закроются для нее русские издания. Нет, хуже, закроются не газеты - источник денег. Она ведь, не Сергей, опять была главной кормилицей в семье.

«Мы очень плохо живем... и конских котлет уже нет. Мясо и яйца не едим никогда», - пишет в письме. Картошку на второе варит в супе, чтобы был хоть какой-то навар; зелень покупает увядшую - по дешевке. Смеется: «у меня от истощения вылезла половина брови». Недокуренные папиросы не выбрасывает (докурю!). Не стыдясь, просит у подруг то пару чулок, то 80 франков на башмаки, то костюмчик на вырост для Мура - сына. А телятину не за месяцы - за годы впервые пожарит, когда приедет оказавшаяся на Западе по приглашению Горького Ася, сестра ее. Встреча их станет последней. Асю арестуют в Москве, и лишь в лагере узнает она, что сестра повесилась. Но запомнит и слова Марины: «Я ненавижу пошлость капиталистической жизни. Мне хочется за предел всего этого. На какой-нибудь остров Пасхи», и последний вопрос, услышанный от сестры: «Ты

еще любишь людей?», и последний ответ ее: «А я уже давно ничего, кроме животных и деревьев...»

Любить людей?! - материться тянет... Да на нее и «в лоб», и исподтишка наезжали и самые авторитетные: Гиппиус, Бунин, Осоргин, критики Адамович и Айхенвальд, и совсем уж «мелочь» Яблоновский, Фохт какой-то и сколько, сколько еще. «Ни одного голоса в защиту», - перечислит их подруге и восхищенно, как мог бы Пушкин, добавит: «Я удовлетворена!» Но как было любить даже друзей, если сам Пастернак, кого звала братом «в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении» и за кого умерла бы «без великого сознания жертвы», легкомысленно, чтобы не сказать легко, предаст ее в конце концов. Эту историю расскажет после смерти Марины как раз Ася. Как еще в Сорренто Горький спросил у нее, как живет ее сестра Марина, и, узнав правду, сказал: он будет помогать ей, но не от себя, а через «Международную книгу». И помог бы, не сомневайтесь, если б не Пастернак. Тот, услышав про это от Аси, желая решать с Горьким свои проблемы, написал ему письмо, где просил его не беспокоиться насчет Марины, ибо сам возьмет «обеспечение» ее. «Умоляю Вас, откажитесь вовсе от денежной помощи ей... В этом сейчас нет острой необходимости. Мне уже удалось кое-что сделать, может быть, удастся и еще...» Цветаева как раз ему написала в это время, что когда ее зовут в какие-нибудь гости, то первая мысль: «А накормят? Если нет - не иду...» Он же и ее, как Горького, умолял: «Верь мне... тебе заживется легче! Я отвечаю перед тобой за эти слова: в них - клятва... Я знаю, как вы живете. Этого позора на нас больше не будет. Облегченья пойдут с разных сторон, вот увидишь». И пел ей, что устроит их общий будущий перевод «Фауста», что получит еще деньги за свои книги на Западе и все это вместе «обеспечит» ее. «Думаю, - заканчивал ей в письме, - я найду способ периодически переводить деньги... Но только не торопи меня...»

«В результате, - вспомнит перед смертью Ася, - Марина не получила ни рубля». И каялась перед памятью ее: «Что Марина голодала - МОЯ ВИНА. Моя нелепая гордость мою родную сестру повергла в пучину. Почему я не пошла к Пастернаку и не потребовала объяснить мне это письмо... Марина голодала с 1927 по 1937 год. Я виновата в этом...» Да, дружба и, уж конечно, любовь, не раз говорила Цветаева, это не «словесные кружева» - действие, поступок. И написала то, что и ныне читать почти не вмоготу - про тюрьму.

(Из «Записной книжки» Цветаевой № 13):

«Что дальше? Есть ли долговая тюрьма?.. Если была бы - была бы спокойна. Согласна на 2 года... одиночного заключения (детей разберут "добрые люди" (сволочи) - Сережа прокормится)... С двором, где смогу ходить, и с папиросами - в течение которых, двух лет, обязуюсь написать прекрасную вещь... А стихов! (и сколько и каких)... Париж не при чем - то же было и в Москве, и в Революцию. Я никому не нужна: мой огонь никому не нужен, потому что на нем каши не сварить. 15 мая 1932г. Точка...»

Да, стала бы вровень с Пушкиным, как мечтала, если жила бы в его условиях, хоть каплю имела бы его «покоя». В эмиграции выпустит четыре книги из семи прижизненных, напишет 13 поэм, пять прозаических вещей, включая знаменитые «Повесть о Сонечке» и «Мой Пушкин», трагедию «Федра», статьи, эссе. А стихов?! И каких, и сколько?! Вот по большому счету ее шаги вперед. Грандиозные шаги, несмотря на вечный шаг назад... Сын после смерти Цветаевой скажет: трагедия их семьи была в том, что мать жила прошлым, а отец - будущим,

т.е. «светлым завтра», социализмом. Увы, слова эти, радостно цитируемые биографами, верны лишь на первый взгляд. Парадокс, но в будущем с нами оказалась как раз она, «жившая прошлым», а вот муж ее, «гвардеец» НКВД, чем больше проходит времени, уходит шаг за шагом как раз в прошлое. Отгадка проста: все то же небо, которое оказалось одно и для белых, и для красных. Для очарованных и разочарованных, верующих и циников, героев и подлецов, даже для зла под ликующим ликом добра и добра, обернувшегося злом. И неудивительно ли, что она, далекая от политики, детская модель вселенной, оказалась в итоге прозорливей и пророков, и вождей?

«Вплоть до пролития крови...»

Сергей в письме к сестре просил писать им теперь по новому адресу: авеню Жанны д'Арк, 2. Авеню Жанны! Ее совпадения. Ныне этой улицы нет, теперь ее имя Дю Буа. Но если Сергею было все равно то ее, думаю, обрадовало даже название улицы. Помните, когда еще сказала: Жанна - «вот мой дом, мое дело в мире!»?.. И хотя в реальном мире давно изменилось почти все (люди, привычки, моды, обряды, названия городов и даже стран, даже системы политические), она как раз стойкий гвардеец, взглядов своих упрямо не меняла. А Сергей - тот, надо признать, и взгляды, и убеждения менял, будто жизнь была игрой, опасной, но игрой. За революцию, потом с оружием в руках против нее, потом опять - за и, кажется, вновь, еще в последний месяц в Париже - против. По большому счету не выбор - трагедия половины белой эмиграции и почти всего поколения ровесников Эфрона. Не «кино» про Казанову – драма шекспировского замеса, грянувшая с Гражданской войны!

(Из книги А. Эфрон «Воспоминания дочери»):

«"И все же это было совсем не так, Мариночка, - сказал отец... - Была братоубийственная... война, которую мы вели не поддержанные народом... Лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы... вернуть себе отданное большевикам..." - "Но как же Вы - Вы, Сереженька..." - "А вот так: представьте себе вокзал военного времени... все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается - минутное облегчение, слава тебе, Господи! - но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал - впрочем, вместе со многими и многими! - не в тот поезд... Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет - рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком по шпалам - всю жизнь"...»

Ну не Шекспир ли?! В 23-м, споря с тем же Романом Гулем в Берлине, Сергей кричал, что «Белая армия спасла честь России». В 25-м печатно клялся: «То, за что умирали добровольцы, эту правду я не отдам даже за обретение Родины. Не страх перед Чекой останавливает, а капитуляция перед чекистами - отказ от правды...» А уже в 31-м, как раз с авеню Жанны, пишет сестре, что подал прошение о советском паспорте и что нынешние убеждения дают ему право «просить о гражданстве». Вскользь сообщит, что почти год лечился и отдыхал в чудном горном шато на юге. Но промолчит, конечно, что на деле Шато д'Арсин, как известно ныне, было гнездом советской разведки, где он, астральный юнкер ее, и станет чекистом. «Наводчиком-вербовщиком», как официально будет называться на Лубянке его должность. И это уже не кино. Впрочем, Шекспир был в том еще, что если Сергей и его друзья, наивно поверив в СССР, помогали ему, чем могли, вошли в «Союз возвращения на родину» и тащили туда даже детей, то родина руками спецслужб,

провокациями, подставами, интригами хитро и жестоко «играла» с ними. Все ли и теперь знают, что «Союз возвращения» был инспирирован еще Дзержинским через Пешкову, бывшую жену Горького? Хотели «зарыть ров» между эмиграцией и СССР. Все ли слышали про «кровавые тайны» того еще Коминтерна, циклопическая кладка которого существует, кажется, по сей день? Наконец, все ли читали, что многих из тех, кому Эфрон помог вернуться в Москву, тихо арестовывали и отправляли в лагеря, а чаще на смерть? Такой вот конвейер не в «царство социализма» - на тот свет! И что тогда, в те годы, могли знать они, что знала она, далекая от политики Цветаева?..

Знала, знала, не могла не знать! - твердят нынешние цветаеведы-любители. А она до середины 30-х знала лишь, что стареет и что семья ее разваливается. «Ни одного поцелуя никому 4 года, - напишет Пастернаку. - Мне нужен физический стук чужого сердца в ухо, иногда завидую врачам... У меня... сознание, как у некой старухи, что я заедаю чью-то жизнь». Какие там «поцелуи»? Когда на бульваре Монпарнас, в 33-м, к ней и Але пристал вдруг какой-то хлыщ и она пожаловалась прохожим на «преследование», то в ответ услышала: «Вас я не преследую, вы отвратительны! Я преследую другую». Т.е. Алю, страшно похорошевшую дочь ее. «Вот все признание меня Парижем, - запишет Цветаева. - "Отвратительна?" Не думаю, ибо знаю, что не урод и что при желании... Но больно, так в "солнечное сплетение", перед всеми... И вывод - пора: что? Что-то пора...»

«Ушла Аля, - пожалуется скоро в письме Вере Буниной, - ушла внезапно...» В тот день она попросила ее сходить за лекарством для Мура. «Да-да», - кивала та часами и не двигалась с места. «Позор, так измываться надо мной», - не выдержала Цветаева. «Вы и так уж опозорены, - огрызнулась дочь. - Вашу лживость все знают...» Это Аля-то?! «Лучший стих» ее, «гений души»? Вот тогда она и дала ей пощечину. Сергей, взбесившись, вскочил, сказал Але, чтобы она ни минуты не оставалась в доме, и дал денег на жизнь. «Моя дочь, - ставит точку в письме Буниной, - первый человек, кто меня презирал...»

(Из показаний Ариадны Эфрон на допросе в НКВД):

«Лично моя жизнь... складывалась неудачно... Мне удалось... найти работу медсестрой в зубокабинете. На почве этой работы мы окончательно поссорились с матерью... ей была нужна моя помощь дома... Работа была трудная... часов по двенадцать... Хозяин, проэксплуатировав меня некоторое время, воспользовался моей болезнью, чтобы выставить меня на улицу... Признаться себе... что мать была права, я не хотела. Мне было уже около 20-21 года, а я оказывалась неспособной жить самостоятельно... и... написав записку... открыла на кухне газ. Но домой случайно вернулся отец, выволок меня из кухни в полубессознательном состоянии... Отец мне сказал, что глупо... стыдно в моем возрасте... считать, что жизнь кончена... Я ему ответила, что ему жаловаться нечего, что он живет, как хочет, ведет большую работу на свою страну, а мне в этой работе отказывает...»

Про «большую работу» его Аля узнала годом раньше, когда однажды отец вдруг расплакался при ней: «Я порчу жизнь тебе и маме». Спросил: не лучше ли ему оставить семью, сказал, что жизнь его пойдет «только хуже и труднее» и, беззвучно зарыдав, признался: «Я запутался, как муха в паутине...»

Эх, в эту «паутину» он «запутает» скоро и дочь, и даже 12-летнего сына. Мур напишет потом в дневнике, что еще в Париже стал «откровенным коммунистом» и тайно от матери ходил с отцом на сотни (именно так!) рабочих митингов. А

вообще Сергей «завербует» для работы на СССР 24 человека, хотя на Лубянке будет доказывать, что больше 30. Как вербовал, запомнит тот же Сосинский, мальчишкой воевавший в Белой армии и даже получивший орден из рук самого Врангеля. «Вот как я мыслю... голубчик, - вкрадчиво внушал ему как-то бессонной ночью Сергей. - Оба мы крепко... согрешили перед родиной: проливали народную кровь, кровь трудящихся в защиту буржуазного дерьма и монархической сволочи. И вот... когда мы так мучительно жаждем вернуться на родину... честными и чистыми... мы должны потрудиться для нее, подвергая себя и семью своей опасности, и если того требует дело... требует Москва - вплоть до пролития крови...» «Согласен, до пролития крови, - ответит Сосинский, - но своей, не чужой!..» И - откажется сотрудничать. А про встречу эту, узнав потом об убийствах, похищениях людей и слежках, скажет прямо: «Со мной говорил чекист, наемный убийца, палач»...

Все темно и ныне в делах НКВД в Париже. Вербовал Сергея, думаю, скромнейший делопроизводитель генконсульства СССР, а на деле с 28-го года резидент ОГПУ, матерый агент НКВД Захар Волович (он же Янович, он же Вилянский). Кстати, близкий «друзбан» Маяковского и Бриков; у себя в «салоне» они звали его просто Зоря. Зоря был резидентом еще в Праге, а в Париже - это точно! - именно он организовал «громкое» похищение генерала Кутепова. Участвовал ли в этом Эфрон, неизвестно, но ныне пишут: Сергей руководил слежкой за сыном Троцкого (тот в конце концов умрет странной смертью от аппендицита под ножом хирурга), был в толпе громил, которая ночью с факелами ворвалась в помещение архива Троцкого и выкрала 40 пачек документов, участвовал в похищении генерала Миллера (его на шумной улице усадят в машину и, усыпив хлороформом, тайно доставят на советский пароход). Наконец он отправлял в Швейцарию «своих» людей: учительницу, шофера, бывшего священника для убийства (дубинка по голове и восемь пуль в тело) Игнатия Рейсса, Игнаса Порецки, польского коммуниста, ставшего в 37-м резидентом НКВД в Париже; тот, написав Сталину ярое обличительное письмо, отказался вернуться в СССР.

Это, повторяю, известно. Неясно пока, шел ли сам Сергей на «мокруху»: на убийство бывшего секретаря Троцкого Рудольфа Клемента, советского банкира Навашина, Агабекова в Бельгии, тех, кого Москва требовала «выманить» из заграницы. «Куда девался прежний Сережа, мягкий, смешливый говорун? - удивлялся потом знакомый семьи. - Откуда только взялась забытая офицерская выправка?» Не хватало френча и портупей, когда тоном стратега он обсуждал на кухне передислокацию бригад в Испании, модернизацию Красной армии, хитрые происки «пятой колонны» в СССР и несомненные связи ее с гестапо. В письмах сестре в Москву Сергей жаловался теперь только на жену: «С Мариной зарез. Не знаю, что и делать. Человек социально дикий, ею нужно руководить как ребенком...» А она, потеряв фактически мужа, дочь (та скоро уедет в СССР) и не зная еще, но «потеряв» и сына, ясно видела уже свое беспросветное будущее.

(Из «Сводных тетрадей» Цветаевой):

«Здесь я ненужна, там я невозможна. Вокруг пустота, мой вечный, с младенчества, круг пустоты. Нет друзей, в будущем - нищета... но это в быту, душевно - хуже, просто ничего... У всех своя жизнь, всем некогда... Меня не

любят... Ну а я люблю (кого-нибудь)? Нет... Любила - деревья... Через 10 лет я буду совершенно одна... С прособаченной с начала до конца жизнью...»

Ровно через десять лет она и покончит с собой...

Бегство

На 5-й странице газеты, в «шапке» было набрано: «Евразиец Эфрон - агент ГПУ!». Но в полиции, куда почти сразу вызвали на допрос Цветаеву и Мура, ее приняли - и тоже почти сразу - за полоумную. «Месье Эфрон ваш муж?» - спросил Бетейль, генеральный инспектор. «Да», - ответила она. Но ни об убийстве Рейсса, ни о пропаже белого генерала Миллера, о чем шептался весь русский Париж, ничего сказать не могла. Твердила одно: муж дней десять назад срочно уехал в Испанию, где шли бои с Франко. Врала, спасала его. А к концу допроса стала вдруг деревянно бормотать стихи, переводы на французский, хотя по смыслу надо было бы прочесть: «С змеею в сердце и с клеймом на лбу, / Я утверждаю, что - невинна...» Из-за стихов ее и сочли сумасшедшей. Пусть! Главное, не выдала мужа. А вот он ее своим бегством выдал. «Сдал» на руки агентам НКВД. Как на аркан посадил... Нет, теперь она не только знала все - сама была в том такси, которое мчалось к Руану, где Сергея должны были встретить и переправить в Гавр. Там, в порту, под парами ждал его «Андрей Жданов» - пароход, который увезет его в Россию. Спецслужбы СССР тогда, в 37-м, вели себя во Франции, ну прямо как дома...

За рулем такси сидел Сцепуржинский - друг и завербованный Сергеем агент, у кого дома и пряталась неделю вся семья. А рядом с шофером в такси сидела жена его, Маша Булгакова, дочь известного богослова и тоже агент Сергея. Та самая Маша, представьте, к которой и «ушел» когда-то от Цветаевой ее второй «Лев» - Родзевич. Все сошлось в том безумном такси. По одной версии они довели Сергея до Руана, по другой - он едва не на ходу выскочил из машины и, махнув рукой Марине и Муру, бесшумно скрылся в кустах. Играл! Теперь играл в неуловимого «нелегала». А она опять, как в Москве, осталась одна: и пленницей, и, считайте, заложницей его.

(Из книги Нины Берберовой «Курсив мой»):

«Цветаеву я видела в последний раз на похоронах... кн. С.М. Волконского... Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейсса, в котором был замешан ее муж... Она стояла, как зачумленная, никто к ней не подошел, и я, как все, прошла мимо...»

Сам Сергей в «своем кругу» участия в «деле Рейсса» никогда не отрицал, упоминал о нем с благодушным удовлетворением. Он ведь был, как сказали бы ныне, «понтером», и понты ложной значительности, важных секретов, некоей посвященности были приятны ему. Все отрицала лишь Аля, которая до самой смерти колотилась убедить других и, главное, себя, что Сережа (как звала отца) был «мечтателем в крылатом шлеме», которого ничто низменное, а уж тем более кровавое коснуться не могло.

Через месяц после убийства Рейсса среди бела дня, у выхода из метро «Жасмэн» был похищен генерал Евгений Миллер - он после Кутепова руководил Российским общевойсковым союзом во Франции. Выкрал Миллера «Фермер», знакомый Сергея чуть ли не с «Ледяного похода». «Фермер» в списках НКВД проходил как генерал Скоблин, который вместе с женой - «Фермершей» - знаменитой певицей Надеждой Плевицкой, многие годы работал уже на советские спецслужбы. Да, все

темно в тайных операциях ГПУ-НКВД в Париже. Ведь только в 2005-м, случайно, буквально «из телевизора» мы узнали вдруг, что похитить в Париже и вывести в СССР должны были не Миллера - самого Деникина. Но главное - я ушам, помню, не поверил! - спас его от этого как раз Эфрон. Так было сказано в документальном фильме, а потом подтверждено дочерью Деникина - еще живой тогда. По всему выходило, что наш «мечтатель в крылатом шлеме» нашел способ тайно «предупредить» Деникина ни за что не садиться ни в какую машину 21 сентября 37-го года кто бы его ни приглашал. А приглашать стал как раз Скоблин, предлагая отвести Деникина на юбилей Корниловского полка. Тот не сел и этим спасся...

Сенсация! Это и ныне сенсация. О причинах поступка, сверив даты и встречи Сергея, точнее всех скажет Ирма Кудрова, лучший, на мой взгляд, биограф Цветаевой. Она напишет, что до попытки похищения Деникина из СССР вернулась близкая знакомая Сергея, тоже завербованная им когда-то и уже опытная разведчица Вера Трейл, урожденная Гучкова, дочь знаменитого думца, того, кто принимал отречение последнего русского царя. В Москве она не училась - год преподавала в подмосковной школе разведки, а вернувшись, по секрету рассказала Сергею правду и про сталинские «процессы», и про аресты, и про расстрелы. Вот когда он понял, на кого работал, когда вновь усомнился в «красной идее». Вера Трейл вспомнит потом - тогда Сергей и сказал ей, как когда-то Але: «Меня запутали в грязное дело, я ни при чем», и добавил: «но я должен уехать...» Он лишь не знал, чем заплатят ему за «службу». Не знал, что Плевицкая, например, будет скоро осуждена судом Франции на 20 лет каторги и умрет в тюрьме, а Скоблин, уже по приказу из Москвы, вообще испарится. С ним, когда полиция вышла на его след, не знали, что делать, и, как утверждает ныне историк разведки Н. Петров, сам Сталин якобы приказал бесследно убрать его. Его сбросят с зафрахтованного самолета в горах между Францией и Испанией. Раздетого, без документов. А вытолкнет из самолета белого генерала лично будущий генерал КГБ Судоплатов, мастер самых грязных дел на Западе, тот, кто умрет у нас недавно едва ли не героем. Так платила родина своим «патриотам» за беззаветное служение ей...

Умнее всех окажется Вера Трейл и, представьте, Родзевич. Оба умрут за рубежом и своей смертью. Вы, милые читатели, возможно, не знаете еще, что в тот год они были не только друзьями Сергея и всей семьи Цветаевой - они были... мужем и женой. Таким было ядро, «гнездо» НКВД, почти круговая семья советских спецслужб в Париже.

(Из писем Цветаевой 1936-1939 годов):

«Семья? Да, скучно, да, сердце не бьется... Но мне был дан в колыбель ужасный дар совести: неможения чуждого страдания. Может быть (дура я была!), они без меня были бы счастливы: куда счастливее, чем со мной!.. Но кто бы меня тогда убедил?! Я так была уверена (они же уверили!) в своей незаменимости: что без меня умрут. А теперь я для них... ноша, Божье наказание... Все они хотят жить, действовать... "строить жизнь"... (точно это кубики! точно так строится!) Жизнь должна возрастать изнутри, быть деревом, а не домом. И как я в этом — и в этом - одинока...»

Бульвар Пастера, 32, отель «Иннова», 5-й этаж, 36-й номер - последняя конура Цветаевой, куда вселили ее вежливые, непроницаемые «кураторы» из посольства СССР. Думаю, из резидентуры НКВД при посольстве. Тонкие двери гостиницы, сквозь которые она слышала ссоры соседей, неистребимой запах жареного лука в

коридоре, коробки, корзины, чемоданы на полу, одежда на гвоздиках по стенам и такой холод (батареи почти не топили), что Цветаева даже спала в вязаной шапочке. А кроме того, запрет печатать что-либо (лишняя компрометация), зарплата мужа «в конвертах», письма его и Али из Москвы (по прочтении - уничтожить) и минимум контактов. Вот так без права Мура на школу (из последней его выгнали за «пропаганду социализма»), без ее права «на завтра, на мечту о нем», она и проживет ровно девять месяцев. Будто в утробе согнутая перед вторым рождением уже на родине.

Бегство Сергея добило ее. «Она сразу сохлась, - вспоминал Марк Слоним. - Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча. Просто и обыденно прозвучали ее слова: "Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура: Але и Сергею я больше не нужна"...» Удивилась и обрадовалась лишь однажды, когда незадолго до отъезда в СССР, возвращаясь в гостиницу, на нее и Мура вдруг налетел сзади и втиснулся между ними, и подхватил их под руки, вообразите, Родзевич. «Вы?», «Как?», «Откуда?», «Вы же должны быть в Испании?», наконец «Где Вы узнали наш адрес»? О, наивная! Ей, которая второй год ходила на «аркане» НКВД, и в голову не могло прийти, что он, ее «Арлекин», кажется, был (я обещал рассказать об этом) куда более ценным агентом, чем Сергей, и в силу службы, уж наверное, знал и про отель, и даже про дату отъезда ее. Не мог не знать. Более того, я считаю, что именно он и «втянул» когда-то Сергея в работу на СССР, став первопричиной всех бед семьи. Он-то на Советы работал, кажется, всегда. Я впервые подумал об этом, когда наткнулся на его слова в письме к покойной уже Анне Саакянц, биографу Цветаевой. «Ради Бога, не выставляйте меня сторонником "белых", - признался ей в 1978-м, - под их господством мне приходилось порой находиться, но я никогда не стоял на их стороне. Мне приходилось разыгрывать роли, являвшиеся прикрытием и имевшие другие, скрытые предназначения». Увы, Саакянц не придавала значения его словам, отнесла их в книге в примечания, в сноску. А ведь за ними главное; факт этот станет не щепкой - увесистым поленом в тот костер, на котором сгорит и вся семья Цветаевой, и сама. Это, если хотите, моя версия.

Да, начальник красного одесского порта, вчерашний мичман Родзевич был схвачен белыми и лично Слащевым, генералом-изувером, приговорен к смерти. Но почему его помиловали и приняли в свои ряды? «Под их господством, - напомним, - мне приходилось порой находиться, но я никогда не стоял на их стороне». И не потому ли уже красные заочно приговорили его к смерти, чтобы составить ему, будущему агенту своему, надежное алиби?

Да, Эфрон на Лубянке, перечисляя завербованных им, назвал и Родзевича. Но разве нельзя предположить, что последний всего лишь «сделал вид», что его вербует друг, который только недавно, в 1931-м, стал агентом ГПУ? Ведь, как известно - совсем новый факт! - Родзевич еще в 1921-м, за десять лет до этого, уехал вдруг в Ригу якобы к родственникам и прожил там целый год. Именно в Риге завязывались тогда «узелки» широкого «невода» советской разведки, вскоре наброшенного на всю Европу.

«Нет, нет, все не так, - решительно возразила мне в недавнем разговоре та же Ирма Викторовна Кудрова, специалист по Цветаевой. - Эфрон был настолько значительной фигурой, что именно ему было поручено возглавить "Союз возвращения на родину"». Да, дорогая Ирма Викторовна, поручено, но вы не можете не знать, что настоящая, серьезная разведка не ищет «публичности» - этот аргумент скорее «работает» на мою версию. Ведь про Эфрона с 28-го года еще весь

Париж говорил, что он «законченный коммунист». Какой же из него тайный агент? А вот про Родзевича мы и ныне знаем крохи. Умный, суровый, сильный, этакий мачо, он был близок с генералом Орловым, начальником всей агентурной сети в Европе и вместе с ним «воевал» в Испании. Командовал якобы батальоном подрывников, а на деле ничего, пишут, не «подрывал». Орлов и его помощники, как это стало известно не так давно, по приказу Москвы расправлялись с тысячами испанских троцкистов, в одночасье ставших не бойцами с Франко - «пятой колонной», предателями и фашистами. Их и иностранцев, пришедших на помощь испанской революции, тысячами бросят в тюрьмы и убьют. Вспомните Оруэлла, его книгу «Памяти Каталонии»! И руководили массовыми репрессиями Орлов и его приспешники.

Да если Родзевич хотя бы к десяти смертям имел отношение, то и тогда он не просто тайная - зловещая фигура, рядом с кем Эфрон просто мальчишка, игравший в «шпионы». Хотя почему «хотя бы»? Именно в 10 убитых он и признался нехотя Муру, когда тот по-детски спросит его: убивал ли он врагов Испании? Это тоже стало известно недавно из дневника Мура, только что изданного.

Все глухо в биографии Родзевича, но все говорит о том, что «львом» он был железным, а не картонным, «карусельным», как Эфрон. Из фашистского концлагеря Родзевича освободили советские войска, но - последний аргумент! - почему-то не интернировали в СССР, как прочих. Почему-то дали вернуться во Францию, даже подлечили слегка. Просто в его «работе» не было провалов, как у Эфрона, и его не надо было отзывать на родину. И уж не потому ли вспыхнула столь сильная страсть - шекспировская страсть! - между Родзевичем и Цветаевой, что оба никогда, ни разу не меняли убеждений своих в том изменчивом мире? Любовь, как гибель, все правильно, и гибель, как любовь. Самый страшный круг, трагическая «карусель» души поэта, последний удар великого сердца... Как в том пророческом кошмаре, который приснился ей перед отъездом. За два года до ее смерти. Сон про семью ее и про то, как она - улетала в небо.

(Из дневника Цветаевой от 23 апреля 1939 г.)

«Иду вверх по узкой горной тропинке... слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу - сверху - лев. Огромный... Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу - верблюд, двугорбый... необычайной... высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом шатра: живота). Иду дальше, Навстречу - лошадь. Она непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И лошадь несется по воздуху - надо мной... И дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города... сначала крупные подробные... потом горстки бедных камешков... Несусь... с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно - и безнадежно! - за него держусь, зная, что очередной круг будет вселенная: та полная пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, внутри себя... Ни остановить, ни изменить: роковое...»

Никто не провожал их на вокзале («не позволили», как успела безлично помянуть своих «кураторов» Цветаева в письме к подруге). Когда крикнули «По вагонам!», Мур пошутил: «Ni fleurs, ni couronnes» («Венков и цветов не приносить» - фраза из похоронных оповещений).

Все походило на бегство, как у ее Сергея. И как у него, поезд довез их до Гавра, где их ждал советский пароход. Только название его было не «Андрей Жданов» - «Мария Ульянова». Погрузились, когда садилось солнце, отчалили, когда оно

только-только встало - в 7.15. «О, Боже, Боже, Боже! Что я делаю? Заносю ногу на сходни, я сознавала: кончается жизнь 17 лет... - напишет о прощании с Францией. - Едем, как собаки. Сейчас уже не тяжело, сейчас уже - судьба». До смерти ее в Елабуге, если точнее, оставалось два года, два месяца и 19 дней.

Когда-то в далекой молодости мне нравилось выписывать из книг поразившие меня мысли. Типа «крылатые слова» для себя любимого. Кое-какие блокноты сохранились. Так вот, в 1966-м, когда я служил срочную в Москве и когда, прочтя стихи Цветаевой, впервые пришел в Борисоглебский, к дому ее, я, оказалось, выписал для себя слова Экзюпери из книги «Планета людей»; она в тот год как раз вышла у нас впервые. «От поколения к поколению, - выписывал я, - передается жизнь - медленно, как растет дерево». Но разве я знал тогда, в 66-м, что она, возвращаясь в 39-м из эмиграции на рефрижераторе «Мария Ульянова», читать в дорогу взяла только одну книгу. Как раз «Планету людей»; специально искала ее в магазинах накануне отъезда.

Она и Мур были, кажется, единственными русскими пассажирами на том судне. Зато все оно было забито испанскими детьми - их, осиротевших, вывозили в СССР из разрушенного войной отечества. Цветаева пишет: они сутками танцевали на палубе, потом ели, потом выворачивали съеденное за борт и - снова пускались в пляс. Плясал с ними и 14-летний Мур, забегая в каюту, чтобы, схватив полотенце, вытереть вспотевшее лицо. А она лишь с закатами поднималась на палубу: поклониться уплывавшей Дании, потом Швеции и послать привет и Андерсену, и Сельме Лагерлеф. Выходила, чтобы вновь погрузиться в Экзюпери. «Надежды больше нет, - читала у него. - Уносит меня невольничий корабль, плыву под звездами и остановиться не в моей власти...» А когда слева по борту встал Кронштадт, а впереди поднялся из воды купол Исаакия, добралась до последних фраз книги. До тех слов, выписанных мной когда-то: «От поколения к поколению передается жизнь - медленно, как растет дерево. Из расплавленной лавы, из чудом зародившейся клетки вышли мы - люди - и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия...»

Все у Экзюпери было про нее: от музыки и деревьев до звезд. И все - в прошлом. Ибо в СССР она, всемирно известный уже поэт, возвращалась тайно. Таков был приказ НКВД. Считайте, приказ самой Родины.

«Обертон - унтертон всего - жуть...»

Вот первая загадка возвращения: захотела, успела ли она, сойдя с поезда на Ленинградском вокзале, хоть на мгновение взглянуть на июньскую Москву? На город, про который в письме умоляла когда-то Пастернака: «Напиши мне о летней Москве! Моей страсти, из всех любимой» и про который за день до самоубийства скажет знакомой: «это мой родной город, но сейчас я его ненавижу». Приехала на Ленинградский, а в Болшево, где жил теперь ее Сергей, надо было ехать с Ярославского - рядом. И можно было, не выходя на площадь - там был проход, - просто перейти с перрона на перрон. Вот и гадают биографы: выбежала ли хоть на миг поклониться городу, глянуть краем глаза на Москву, которую не видела 17 лет? Или и это было запрещено? Теперь запрещено, когда сама родина становилась западней?

«Змея должна менять шкуру», - веселилась в молодости. Но в Россию, образно говоря, вернулась вообще без кожи, с голыми нервами. В Париже, гадая как-то стихам, ей «выпала» басня именно про змею. «Это ко мне!» - усмехнулась. Речь в

басне шла о гадюке, дивный голос которой люди слушали, рыдая от счастья. Но когда с открытой и полной любви душой та доверчиво поползла к ним, все брызнуло врозь. Пой, дескать, но держись от нас подале. Стихи не обманули: в мире глухих поющих кажется уродом. Но лишь в СССР «поющих», кто не как все, чаще всего убивали. Да, вернулась на родину, когда в стране полыхал еще костер «Большого террора». И ей гореть, поняла, гореть, как любимой Жанне д'Арк. Одного не знала, того, что «костер» ее подпалят не штатные палачи - свои, родные, самые близкие люди.

«Вели» ее, как на аркане. В Париже до вагона провожали люди из спецслужб, но ведь и в Москве, как известно ныне, встретили на перроне два секретных сотрудника НКВД. Про московских, если и догадается, то не сразу, ибо к поезду подлетели не угрюмые «незнакомцы» - два сияющих счастливых человека: красавица-дочь и смуглый белозубый спутник ее - поклонник Али, почти жених. «Самуил Гуревич, - весело представит его Аля, - но все зовут его просто "Муля"». «А где Ася?» - спросит Цветаева о сестре. Ей не ответят, будто не услышат. И лишь в поезде до Болшева дочь шепнет, что и Ася, и сын ее Андрей, и муж сестры Сергея второй год, как арестованы. Вот это был удар! Может, потому она и скажет потом про Алю: «моя подлая дочь»? Ведь если бы та хотя бы намекнула в письмах из Москвы, что арестована ее сестра, она, возможно, не кинулись бы добровольно в московский капкан?

(Из воспоминаний Н. Лурье, советского писателя):

«Нехорошо мне, - неожиданно заговорила Цветаева... - Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылела... Но смотрите, что получилось. Я здесь оказалась еще более чужой... Меня все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, что тут происходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, у меня хоть в мечтах была родина. Когда я приехала, у меня и мечту отняли... Уж разумнее было бы в таком случае не давать таким, как я, разрешения на въезд...»

В Болшеве проведет пять страшных месяцев. Дом в соснах на окраине поселка «Новый быт» сохранился до бревнышка. Ныне музей Цветаевой на улице имени Цветаевой, а тогда уютное одноэтажное гнездо, которое пополам дали семьям двух героев-разведчиков: Эфроном и завербованным Сергеем в Париже супругам Клепининым. На деле же - секретная «дача НКВД», или, как мрачно пошутила Нина Клепинина, «дом предварительного заключения». И то, и другое - правда. Камин, паркетные полы, готовая мебель, открытые террасы - чем не загородный дом? И дача НКВД, здесь жил до ареста сам Зальман Пассов, начальник 7-го отдела ГУГБ - всего Иностранного отдела Лубянки. И, конечно, ДПЗ, ибо из семи взрослых обитателей, живших тут до приезда Цветаевой, пятерых арестуют при ней. В том числе ее дочь и мужа.

А ведь поначалу все было прекрасно. Сергей поселился здесь чуть ли не за год до возвращения Цветаевой, и к нему почти сразу переехала Аля. Она, ставшая завзятой «комсомолкой» еще в Париже, вернулась в СССР первой, весной 37-го. Восторгам ее не было предела! Подругам во Францию писала, что рабочие завода «Каучук» в своем театре играют Шекспира, что в Москве «нет ни одного человека, который бы не знал Пушкина», что на улицах не слышала «ни одного бранного слова» и не встречала «ни одного человека, который бы не работал или не учился...» Сергей, тайно вывезенный на родину позже, сначала не без шика год жил в столичных отелях, в нынешнем «Балчуге» с видом на Кремль, лечился в лучших больницах, а отдыхал и подолгу то в Аркадии, в Одессе, то в Минводах,

то в Кисловодске. Сестре хвастался: в жизни не видел около себя столько врачей, и шутил: в санаториях его всего обтирают одеколоном, так что благоухает он, словно «фиалка пармская». Это был «звездный час» его: 45 лет, синеглазый красавец, тайное прошлое, опасная работа; он ведь в Москве стал не Эфроном - «Андреевым», таким был теперь его оперативный псевдоним. Обещали вот-вот орден Ленина за прошлые «заслуги», спрашивали в НКВД: поедет ли в Китай, где, может, придется рисковать жизнью? Словом, это была лучшая «роль» его! Огорчало одно: когда пришел к «хозяевам» на Лубянку просить о жилье, когда сказал, что надоело жить в отелях, что дочь ютится в 6-метровой комнате его сестры, а спит вообще в алькове, начальник встрепенулся: «Альков? Это где же, это что - Московская область?» Такими были отныне «друзья» его, «утонченного версальца». Зато вечерами, запалив камин, он, Аля с женихом, Клепинины (они были теперь «Львовы») - все сходились в общей гостиной. Занавешенные окна, на стене свежая еловая ветка, от которой пахнет Рождеством, вкусный ужин, Алины шуточки, добрая, с мягкой иронией улыбка Сергея. Какие-то все радостные, оживленные. Читали стихи, намеками поминали «подвиги» парижские, спорили о Толстом, толковали систему Станиславского и ждали, ждали приезда Марины. Все поголовно были секретными сотрудниками НКВД («сексотами» в просторечии), у всех были кураторы из органов, и все, как выяснится на допросах, доносили даже друг на друга. Аля своей наставнице от НКВД некой Степановой «стучала» на Клепининых, те - на Сергея, Сергей - на них. А вообще готовились жить «набело». Весь ужас в том и состоял, что объективно все они были хорошими, даже замечательными людьми: добрыми, смелыми, даровитыми (Клепинин еще в Париже издал две книги, его жена рисовала и была когда-то ученицей Петрова-Водкина). Просто вернулись помочь Родине, стряхнуть эмиграцию, воспрять. Сергей даже кольца повесил меж сосен, чтобы подтягиваться - тренировать сердце (стенокардия), и бодрящий стук их друг о друга по утрам, кажется, молодил его...

Колец ныне, конечно, нет. Но целы дверные ручки, помнящие ладони Цветаевой, дубовый стол, буфет, даже старая защелка на форточке в комнате Сергея. Была тахта, раскладушка, а по стенам гвозди: на них, под простынями, висела вся их одежда. После возвращения эти гвозди вместо шкафов платяных будут «сопровождать» Цветаеву всюду. До того крепко вбитого гвоздя в сенях Елабуги - последнего. На котором и повесится...

145 дней прожила здесь Цветаева. «Тихо она приехала, - напишет Аля, - тихо встретила с Сережей... В ней была осторожность кошки, приносивающейся... к нашей великолепной даче, к нам...» Вернулась другой, конечно. Полюбила темные платья, низко и некрасиво повязывала косынку на почти седых волосах, не стесняясь, носила уже очки, а поверх всего с утра, как хомут, надевала синий фартук с одним большим карманом, в котором было все, и главное - зажигалки и мундштуки, которые вечно теряла. Лишь иногда, принарядившись, ходила с Сергеем на станцию, где, гуляя по платформе среди дачников, пропуская поезд за поездом, ждала из Москвы радостную Алю, обвешанную коробками, свертками, сумками. Да еще радовалась книгам, с которыми засыпала, и когда неслышно входящий Сергей снимал с нее очки и гасил лампу, вздрагивала и бормотала сквозь сон: «Сереженька, я не сплю...»

Благостная, скажете, картинка? Но кто бы заглянул в душу ее, кто бы прикоснулся к оголенным нервам. Ведь, вернувшись, забросила «княжество слов»

- творчество и до смерти не напишет уже ничего, кроме каторжных переводов, да и то, когда разрешат. Быт, «Новый Быт» поселка заедал...

(Из «Болшевской тетради» Цветаевой):

«Неуют... Постепенное щемление сердца... Энигматическая Аля, ее накладное веселье... Торты, ананасы, от этого - не легче... Погреб: 100 раз в день... Ручьи пота и слез в посудный таз... Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, со всем... Ощущаю собственную бедность, которая кормится обедами (любовой и дружб всех остальных). Судомойка - на целый день... Только я, я одна, выливаю грязную воду из-под посуды в сад, чтобы таз под раковиной... не пачкал пол... Да и просто - одна. Все вокруг поглощены общественными проблемами: идеи, идеалы... - слов полон рот, но никто не видит несправедливости в том, что у меня облезает кожа на руках, натруженных от работы... Обертон - унтертон всего - жуть...»

Первой арестовали Алю. Буквально накануне, за три дня до этого, Цветаева вместе с ней и сыном впервые вырвалась из Болшева. Где-то там ей, видимо, «дозволили» посетить открытие Сельскохозяйственной выставки. Праздник открывал сам Берия. Фонтаны, оркестры, 200 флагов, рвущих воздух. «На этой выставке, - захлебывался в «Известиях» Алексей Толстой, - колхозник и колхозница, подбоченясь, смело могут сказать: "Ну, как вы там - за рубежом, а вы чем за эти годы похвастаетесь?.."» С трибуны читали стихи Уткин, Жаров, Алтаузен - их голоса гремели из каждого репродуктора. А в толпе, не узнанная никем, бродила худая, седоватая женщина с папиросой в руке... Чудны дела твои, Господи! В толпе под рифмы поэтических карликов бродила великая Цветаева. Ликующая Аля, в безрукавке и красной косынке, гордилась выставкой, как своей. Радовалась, что мать купила у кустарей большого кустарного льва (кого ж она могла купить еще?), что в грузинском павильоне ей особенно понравились овчарки в вольере (знала ли, что мать ее в детстве звала себя «овчаркой?»). Щебетала про булочки в Москве, говорила, что они не хуже парижских, смеялась, что приняла когда-то метро «Арбатская» за Мавзолей, что, приехав к отцу в Кисловодск, покорила сразу восьмерых летчиков, которые по очереди звали ее замуж, а на все «грозное» в СССР дивилась, «как глазеет корова на проносящиеся мимо поезда». Острила! А если серьезно, то в журнале «Наш Союз» уже поклялась всему свету, что счастлива в своей стране. «В моих руках, - написала, - мое завтра и еще много-много-много бесконечно радостных "завтра"...» Через три дня ее, арестовав, будут догола раздевать на Лубянке, срезать пуговицы, выдергивать резинку из трусов и отбирать лифчик, чтоб не повесилась. Таким окажется ее «завтра» и еще много других (на 14 лет тюрем, лагерей и ссылок) «радостных "завтра"»...

Арестовали ее глубокой ночью, «Уголовный розыск! Откройте! Проверка паспортов!» - постучали с террасы. На стук выбежала Цветаева в синей кофте, как спала, и линялой косынке; она проснулась первой. На крыльце стояли трое: два молодых человека в одинаковых костюмах (оба, как запомнит Аля, «с голубыми жандармскими глазами») и местный комендант. А за спиной их - там, меж сосен - ждала «эмка» с горящими фарами. Обыск, просмотр книг, изъятие писем, бумаг; к утру общий озноб обитателей дачи и наконец предъявление ордера, с размашистой подписью «Берия». И два слова, навсегда разделивших мать и дочь: «Вы арестованы!»

«Аля веселая, держится браво, - запишет Цветаева. - Уходит, не прощаясь! Я - что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо - отмахивается! Комендант (старик с добротой). - Так лучше. Долгие проводы - лишние слезы...» Через 30 лет Аля напишет: «Все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, но не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группка людей, теснившаяся на крыльчке, неотвратно отплывает назад... В это утро в последний раз видела я маму, папу, брата...» Первую передачу для Али примут через 4 месяца, а первое письмо от нее - весточку из лагеря - Цветаева получит лишь через полтора года 11 апреля 41-го года. Когда самой останется жить меньше полугода.

Через месяц по той же тропе в ржавых сосновых иглах уведут к «эмке» с фарами ее Сергея. Не чудны - страшны дела твои, Господи! До ареста он еще крепился, хотя по вечерам соседи вроде бы слышали глухие рыдания из его комнаты. А когда в ноябре заберут и Клепининых, Цветаева с сыном, среди опечатанных комнат, в гулком и мерзлом доме, реально останется одна... Три последних дня описанию не поддаются. О них в ее тетради всего четыре слова: «Разворачиваю рану. Живое мясо». Но один день опишет потом невестка Клепининых Ира, она, не зная об аресте родных, заедет на дачу 7 ноября, аккуратно в годовщину Октября. Запомнит вымерший дом, скрип сосен на ветру и надо всем - странный, неземной стук, словно сошедшего с ума метронома. Стучали, звонко сталкиваясь на ветру, физкультурные кольца Сергея. Под их адскую аритмию возникнет на крыльце Цветаева с взлохмаченными сединами и белесым взглядом глаз. Страшная, полубезумная старуха! Не узнавая, будет долго глядеть на гостью пустыми глазами и что-то шептать. Не сразу, но Ирина разберет, услышит сквозь ветер: «Уезжай, деточка, уезжай отсюда скорее. Бог с тобой...» И последнюю фразу ее после широкого крестного знамения: «Я всех боюсь, всех...» А через день, подхватив сына, бросив вещи, посуду, узлы, не спрашивая ничьих разрешений уже, как волчица за флажки, Цветаева кинется прочь - в Москву.

«Мой вечный... круг пустоты...»

Не за 3, не за 30 - за 300 лет до приезда Цветаевой в Москву один писатель сказал слова, которые были (один в один!) про нее: «Если на земле появляется действительно великий человек, его сразу можно узнать, ибо все дураки мира мгновенно объединяются против него». Фраза эта тоже из моего старого блокнота. А знаете, чьи слова? Джонатана Свифта! Священника, доктора богословия и только потом писателя. Он их сказал три века назад. С тех пор не изменилось ничего. И вряд ли, думаю, изменится в ближайшие три. Так устроен гений и так устроена толпа!..

Аля на первых еще допросах скажет: «о приезде матери» нельзя было сообщать никому до «получения точных директив НКВД». Но вот странность - уже на второй день ее приезда в Болшево в литературных кругах Москвы пополз слух: «Марина вернулась». Именно так - Марина! - без отчества и фамилии. «Как о царице», - заметит один поэт. Верно заметит! Ибо там, среди знатоков, она и числилась царицей на троне - на троне русской поэзии. Ни эмиграция, ни расстояния и бойкоты, ни надежная граница и безнадежная для честного слова цензура не могли уже остановить славы ее. Мечта исполнилась: она стала «вторым Пушкиным» или, как мечтала, «первым поэтом-женщиной». Фантастика, но еще в 27-м написала Пастернаку: «Просто в России сейчас пустует трон, по праву

- не по желанию - мой...» А в 39-м как раз он, Пастернак, может, самый близкий ей человек в Москве, испугался поначалу даже встретиться с ней. Я еще расскажу об этом.

(Из письма Цветаевой Анне Тесковой):

«Эх! Я давно отказалась понять других: все по-другому... Например, вдова недавно умершего русского писателя, живущая только им, не едет... на кладбище... потому что очереди на автобус... трудно сесть на автобус. Убейте - не пойму. Любовь - дело, кто только чувствует - не любит: любит свои чувства... Я в цельности и зрячести своего негодования совершенно одинока... Вернее - живу одна, с собой, с другими не живу: или бьюсь о них лбом - как об стену - или молчу. Я думаю, что худшая болезнь души - корысть. И страх. Корысть и страх...»

«Белогвардейка» - это слово, клеймо впервые шепот- нется за ее спиной в Голицыне, в Доме отдыха писателей, в 50 километрах от Москвы. Словечко бросит возмущенно Фиме Фонской, директору Дома, выскочив из-за общего стола, драматург, даже поэт Волькенштейн. И потребует пересадить его, советского писателя, подальше от этой... Он даже не поздоровается, сделает вид, что не знаком с Цветаевой. А ведь это был Володенька Волькенштейн, которого она знала с 1910-х, кто был когда-то мужем ее подруги Сони Парнок и кто в 20-м приходил, почти приползал к ней, прося «пристроить» его пьесу в московские театры. Вот что делал с людьми страх. И, конечно, - корысть...

В Голицыне поселилась в декабре 39-го. К кому она, полубезумная, кинулась из Болшева? Конечно, к писателям. Есть, есть, сказала когда-то, над литературными драками и тщеславием «круговая порука ремесла, порука человечности». Высшая справедливость! Но куда там?! Сам Фадеев, генерал от литературы, генсек Союза писателей и уже член ЦК ВКП(б), не только отказался принять ее в Союз, но на просьбе ее, хотя бы о временном закутке, бестрепетно начертал: «Тов. Цветаева! Достать Вам комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждаются в жилплощади». И посоветовал снять жилье рядом с домом отдыха в Голицыне, а питаться (он распорядится) по «курсовкам» в писательской столовой. Записка Фадеева (он как раз в это время закончил писать восторженную книгу о наркоте Ежеве, только вот напечатать ее не успел - того сняли!), к счастью, сохранилась. Не записка - навечный приговор себе.

Голицыно - ледяная пустыня ее жизни! Здесь, в частном доме на Коммунистическом (конечно же) проспекте, она с сыном в самые суровые морозы полгода жила фактически на летней веранде. Ни родных (два раза в месяц возила им передачи на Лубянку), ни друзей (ее обегали, как заразную), ни теплых вещей (багаж, застрявший на таможне, был адресован арестованной Але), ни денег - ничего. В доме не было даже электричества, сначала - даже лампы керосиновой. А в другом конце этого «проспекта» стоял теплый и уютный Дом творчества, на 10-15 писателей всего, где ей с сыном позволили кормиться. «По ночам... не сплю, - напишет знакомой, - боюсь - слишком много стекла... Ночные страхи, то машина, то нечеловеческая кошка, то треск дерева, вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру, и опять читаю... и опять - треск и опять - скачок - и так до света. Днем холод, просто лед, ледяные руки, и ноги, и мозги... В доме ни масла, ни овощей, одна картошка, а писательской еды не хватает - голодно, в лавках - ничего, только маргарин (брезгаю неодолимо!), и раз удалось достать клюквенного варенья». Раз за полгода. Завтраки носила в кастрюльках к себе, а

обедать и ужинать с сыном ходила сюда - в Дом творчества. Как казалось - к людям.

Таня Кванина, молоденькая учительница, жена писателя Москвина, запомнит, как среди литераторов дома, каждый из которых был для нее не меньше Льва Толстого, вдруг возникла легкая женщина в свитере, длинной юбке, стянутой поясом, и чеканной, «зернистой» речью. Возникла, как «с Марса», и все вокруг изменилось. «Тут же смолкло лакейское перемывание чужих костей, все как-то потускнели, как бы поглупели...» Но «легкую женщину», увы, скоро выживут из этого дома: поднимут цены на курсы. «Снять с питания? - услышит как-то Цветаева телефонный разговор директорши с Москвой. - Хорошо. Сегодня так и сделаю...» На кухне Нюра, повараха, спросит: «Разве вы не завтракаете?» «Я? - чуть не плача, переспросит Цветаева. - Нет. Дело в том, что они за каждого просят 830 рублей, а у меня столько нет, и я вообще честный человек, я желаю им всего хорошего, и дайте мне, пожалуйста, на одного...» То есть на сына. Вот этой вонючей кухни, этих слов ее не могу представить себе и ныне. Знаю, что было. Знаю, что все платили и за еду, и даже за проживание всего по 500 рублей. Знаю, наконец, что все и вся были против нее. И все равно не могу. Ведь это был Дом пи-са-те-лей! Мур, мальчишка, и тот запишет в дневнике пророчески: «Не быть нам за столом со всеми». И добавит: «Мне-то лично наплевать, но каково-то маме!...» А ведь ее дорога в ад только начиналась...

(Из письма Цветаевой поэтессе Вере Меркурьевой):

«Меня начинают жалеть... совершенно чужие люди. Это - хуже всего, п.ч. я от малейшего доброго слова - интонации - заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не понимает, что плачет не женщина, а скала... Я от природы очень веселая... Мне очень мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. Вся свобода. Всё. И вот - чтобы это несчастное счастье так добывать, - в этом не только жестокость, но глупость... Счастливому жизнь должна радоваться. От счастливого идет счастье. От меня - шло. Здорово шло... Мне совестно, что я еще жива...»

Самая большая загадка ее возвращения - почему ее не арестовали? Ведь «брали» всех и по ничтожнейшим поводам. Я уже писал как-то: одного арестовали - так записано в его «деле»! - за то, что он «антисоветски улыбался». Тогда, что же это? Случай? Рулетка? Карусель, где в бешеном кружении сливались лица и непонятно было, кого выхватывать в очередной раз? Не знаю. И, кажется, никто не знает.

«Поздравляю себя (тьфу, тьфу, тьфу!) с уцелением», - запишет Цветаева после ареста Сергея и Клепининых. А Аля к тому времени давно во всем «созналась», увлекая за собой и отца, и даже мать.

Из протокола допроса Ариадны Эфрон:

«Скажите, только ли желание жить вместе с мужем побудило вашу мать выехать за границу?» - «Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно встретила приход Советской власти и не считала возможным примириться с ее существованием...» - «А на кого работал ваш отец?» - «Отец, так же как и я, является агентом французской разведки...»

Против этих «выбитых» из нее слов палачи, может, и сам Берия поставили победный частокол «воскликов». Ее били резиновыми палками - «дамскими вопросниками», как назовет их потом, ставили «навытяжку» в карцер, даже имитировали расстрел. Но ошарашивающей неожиданностью стало для нее

появление вместо привычного уже следователя, лейтенанта Кузьминова, Андрея Свердлова, сына первого председателя ВЦИКа Якова Свердлова и, представьте, недавнего приятеля ее и Мульки, жениха Али - Самуила Гуревича. Они в общих компаниях, буквально вчера еще, вместе ходили в кино, упивались джазом Цфасмана, часами сидели в уютном ресторанчике «Жургаза» - Журнально-газетного объединения на Страстном, где работали и Аля, и Муля. Все еще потешались над Алей, считая ее «старомодной», пеняли, что в журнале «Ревю де Моску» она «пересиживала» часы: «Надо быть круглой идиоткой, чтобы сидеть в редакции дни и ночи за четыреста рублей...» И вдруг он, Андрей, ее следователь. Да какой?! Он, отлично знавший, почему и как она вернулась в Россию, заставлял ее подписывать «такой бред», что у нее волосы вставляли дыбом. И крыл таким матом, какого она «от уголовников потом не слышала». А когда она однажды «уперлась», заявил: «Ну раз вы не хотите по-хорошему, придется... поговорить иначе».

И вызвал костоломов... Кстати, как отмечала Белкина, биограф Цветаевой, в протоколах допросов Али имя Свердлова отсутствует. Он доживет до старости, в 63-м уже, в «барском» санатории «Барвиха» встретится с Твардовским, поэтом, и тот запишет в дневнике: «Станный, загадочный человек. 16 лет работы в НКВД... В детстве знал Ленина. Знает бездну деталей, сплетен, анекдотов "придворной" жизни. Куда до него тому екатерининскому генералу, которому повезло видеть голую задницу императрицы! Этот... видел искусственный член Ягоды (каучуковый, на поясном ремне). Знает... что Берия занимался онанизмом в камере. Знает, кто под кого "копал" и кто на кого "капал"... Чаще всего сообщает о людях дурное: Тухачевский - морфинист, Косарев - бабник, использовавший служебное положение, та-то - блядь, тот-то - сукин сын...» Но про Цветаеву и Алю не сказал Твардовскому ни слова. Хотя, думаю, допрашивал всех «парижан» и Сергея, которого в Лефортове довели до психушки...

Алю «сдал органам» Павел Толстой; он часто бывал в парижском доме Цветаевой. Этот без всякого битья настроил донос даже на родного дядю - Алексея Толстого, у которого жил подолгу. Про Алю на допросах «поведал»: она «ярко выражала свои антисоветские настроения, вместе с матерью - по паспорту эмигрантки, и убеждений самых махровых монархических», а все, включая Эфрона и «белогвардейского писателя» Бунина, с которым дружили, стремились к одному - «к возврату в прошлое». Позже на Цветаеву (так гласят документы) показания дадут едва ли не все «подельники» мужа. **Клепинин:** *«Весь строй СССР ей чужд»*. **Литауэр** (сподвижница Сергея по разведке): *«В Болшеве не стеснялась заявлять, что приехала, как в тюрьму, и что творчество здесь невозможно. Разве этого мало для ареста Цветаевой? Ведь и из Сергея выбьют: «В некоторых произведениях высказывала взгляды несоветские...»*

Сергей окажется самым упорным. Когда его потом реабилитировали, военный прокурор, листая «дело» Сергея, сказал Але: «Ваш отец - мужественный человек. Он осмелился перед самим Берией оспаривать предъявленные ему обвинения. И поплатился за это расстрелом в стенах Лубянки». 18 допросов по протоколам (иные по 13 часов), хотя таскали к палачам чуть ли не ежедневно почти год. Это означало одно: не требовалось протоколов, ибо ни пытки, ни избиения не давали признаний. Тюремный врач написал про него: «Обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене. Тревожен, мысли о самоубийстве, ощущает невероятный страх...» А читавшие

ныне допросы его говорят: подпись его под последними протоколами выводилась буквально каракулями, чуть ли не печатными буквами.

Но Цветаеву, повторяю, ни разу не вызвали даже на допрос, а потом не выслали, как жену и мать «врагов народа». Разве не загадка загадок? И ответа нет. Кроме бредового, конечно: ее спас Сталин. Все остальные, его Политбюро, министры, «запроданный на три поколения вперед» Союз писателей порвали бы ее, дай им волю, «в куски». Но почему же, почему спас? - терзал я вопросами ту же Ирму Кудрову, биографа Цветаевой. Она же, помолчав, ответила: «Наш "великий горец", он же людоед, был очень, очень не глуп. И дальновидно расчетлив...»

Это факт, это уже не «бред»! Ответ в той фразе Свифта про «великих людей». Сталин, шуганув беспощадных «нукеров» своих, подарил жизнь (о чем я не раз писал уже) Ахматовой, Пастернаку, Замятину, Булгакову, Андрею Платонову. И первому поэту XX века Цветаевой. Каприз палача? Наверное. Но ведь и безупречный литературный вкус. Он оставил жить ровно тех, кто составляет ныне самую громкую славу русской литературы. Великий, по Свифту, он и спасал великих! И умер, как 300 лет назад описал этот «экспириенс» Свифт. Тот в последнем письме, почти слепой уже, написал и про свой «опыт жизни», и про всех будущих «великих»: умирать им придется, написал, «как отравленной крысе в своей норе...» Так умер вождь. И не так ли умрет загнанная и распластанная веком великая Цветаева?

«Растите в небо!»

«Я люблю, чтобы деревья росли прямо. Растите в небо!» - завещала нам Цветаева. Любила деревья, любила всегда, а перед смертью, как призналась той же Тане Кваниной, даже больше, чем людей. За что? За стремление ввысь, за молчаливую верность, за тяготение к солнцу, за таящийся в них до времени огонь, бескорыстно греющий человека. Наконец, как считала, за похожесть на себя, за ежедневный, по миллиметру, рост, за победу вертикали над горизонталью, звезд над пылью земной, бытия над бытом. Растите вверх! - это и призыв, и завет, и философия Цветаевой, и все ее стихи. Она ведь и про себя еще 21-м, сразу после ухода Блока, написала: «Я тоже дерево». И добавила: «А потом меня срубят и сожгут, и я буду огонь».

...Зубы у нее начали стучать еще в трамвае. Она сжимала челюсти изо всех сил, лишь бы этого не услышали люди. Два дня назад на Лубянке от нее не приняли ни передачи, ни денег для Сергея. Болен, умер, убит? Когда в окне приемной НКВД ей сказали, что он переведен в Бутырку, она, разжав губы, не смогла попасть даже на «спасибо». В Бутырке Сергей бывал еще мальчиком, когда приходил на свидания к сидевшей тут еще при царе матери-эсерке. Теперь, после пыток, его перевели сюда из-за попытки самоубийства. Но те 2-3 дня, когда она не знала о нем ничего, были самыми страшными для нее. Она ведь и умрет раньше его, повесится за два месяца до его расстрела. Как раз, когда его вновь привезут в Бутырку, но уже в камеру смертников. Погибни он раньше, она бы - верю! - почувствовала.

(Из «Записной книжки» Цветаевой № 14):

«Для поэта нет ни одной равнодушной вещи, на все да, нет, люблю, ненавижу. Нет средостояния, ни средостения. И это - на фоне глубочайшей отрешенности и даже оторванности от всего... Я не знала человека более робкого, чем я, отродясь. Но моя смелость оказалась еще больше моей робости. Смелость:

негодование, восторг, иногда просто разум, всегда - сердце. Так, я, не умеющая самых "простых" и "легких" вещей - самые сложные и тяжелые, - могла... »

Ни от робости, ни от смелости ее не зависело уже ничего. Ни средостояния, ни средостения - рок. Повзрослевший Мур, тот, кто еще в 9 лет в Париже выкрикнул как-то: «Какая у нас ужасная семья», скоро напишет: именно «рок» вел их всех «на расправу». И добавит: это был уже не «*fatum* из произведений Чайковского - величавый, тревожный, ищущий и взывающий, а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой...»

Ну-ка вы, сегодняшние, даже не поэты, не вечно скулящие литераторы, а просто люди, можете ли вы вообразить, что Цветаева, идя в 40-м году по Вспольному переулку, вдруг нагнулась и, никого не стесняясь, подобрала с земли валявшуюся луковицу? «Суп сварю, - сказала ахнувшей спутнице. - Привычка. Бывали дни, когда я варила суп из того, что удавалось подобрать на рынке...» А ведь еще не было войны, не было карточек, голода. Нет, шел год, когда как раз писатели, словно с цепи сорвались, обогащаясь. Весело заселяли дом писателей в Лаврушинском (5-комнатные квартиры решили дать Федину, Сельвинскому, Эренбургу, Погодину и Вишневному, а единственную 6-комнатную - Всеволоду Иванову, к нему благоволил Сталин), делили дачи в Переделкине, приобретали машины, азартно скупали красную мебель, фарфор, наперегонки гонялись за антиквариатом. «В них чувствовалось, - пишет свидетель, - стремление к комфорту... В воздухе - разговоры о блестящей кухне, гаражах, судорожно ищется бензин. Какая-то трамвайная давка с отдавливанием ног...» «Инженеры человеческих душ», - как назвал их Сталин, еще вчера клеймя в газетах «врагов народа», удавившие в себе совесть, теперь во весь опор неслись к «простому человеческому счастью». С ними ли, «хозяевами жизни», сравнивать Цветаеву? Она, как и Стенич, литератор, уже расстрелянный в 38-м, тоже могла презрительно бросить о них: «Знаю я ваших "пролетарских писателей". Они по воскресеньям жрут сырое мясо из эмалированных мисок, придерживая куски босой ногой». Внешний их блеск, их благополучие не обманывали ее - она знала цену их строчкам. А по росту ей были, может, два человека - Пастернак и Ахматова. Но и они, увы, и они...

Елена Тагер, жена литературоведа Евгения Тагера - почти единственная семья, с которой успеет подружиться Цветаева, - вспоминала потом, как поздним вечером в их коммуналке зазвонил телефон. Это был Пастернак. Торопясь, он сказал Елене, что Цветаева просит его о встрече (они после Парижа не виделись 4 года), а он не знает - идти ли? «Я встретил Каверина, он сказал ни в коем случае. Это опасно...» Тагер запомнит, как «потрясла ее эта трусость» и как, сгоряча, она высказала ему все. Правда, подумав, решив, что с ним произойдет нечто ужасное, сразу же напишет ему: «Родной! Вам не надо ездить к Марине, пока не надо. И не надо этим терзаться, ведь это никак не... затрагивает подлинного...» Подлинного отношения к Цветаевой в его душе. Так-то! Но кто бы подумал в те дни о ее душе? Ведь он, пока длился их 10-летний роман в письмах, был готов когда-то даже бросить жену ради нее. И вот - опасно, даже увидеть опасно. Ну ладно Каверин, ладно Антокольский (тот юный Павлик, который 20 лет назад преклонялся перед ней), теперь он будет кричать на знакомую, кому Цветаева хотела оставить чемоданчик с рукописями: «Ты не знаешь ее, она черт знает что может писать, не считаясь со временем! Что в чемодане? Там, может быть, такое, что вы все загремите!...» Ну ладно, наконец, Эренбург, который скоро не пустит ее дальше порога своей квартиры. Она, пишут, упрекнет его; это ведь он в Париже убеждал

ее вернуться в СССР. «Вы мне объясняли, что моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и дочь в тюрьме, я с сыном на улице, и никто не то что печатать - разговаривать со мной не желает...» Эренбург якобы ответит: «Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего». Ее судьба и не стоила уже гроша ломаного, а у Эренбурга все будет хорошо. И она, словно увидев сытое благополучие его, все будущие премии, ордена и заграницы, тогда и крикнет ему: «Вы - негодяй!» И, уходя, хлопнет дверью...

С Пастернаком встретится, конечно, и не раз. Он даже позовет ее в дом на обед с грузинскими поэтами, где она, суровая работяга, «трудоголик», будет ошарашена даже не «лукулловым пиром» - изумлением: как можно весь день провести за обеденным столом? Но в первую встречу они будут бродить по переулкам до полуночи. Он едва не отморожит уши, устанет и, увы, скажет, что всегда устает от нее. Исправляя неловкость, добавит: как и она от него. «Конечно, он ко мне добр, - заметит она, - но я ждала большего, чем забота богатого, я ждала дружбы равного». А он признается: «Она удивительный поэт, но у нее и керосинка пылает Зигфридовым пламенем, так нельзя! Так можно устроить пожар, загорится дом!..» Ныне, через годы, хочется спросить: чей дом загорится, Борис Леонидович? Дом Цветаевой сгорел еще в революцию? Ваши оба целы и ныне? Даже дом, где родились? Может, вы имели в виду дом-страну? Тогда - да! Не от керосинки - от слова великого поэта вспыхивали даже не страны - континенты! Может, потому ей и «затыкали» рот на родине, вновь превращая жизнь, как в 20-х, в немое кино, в бессловесный триллер?

За два года напечатают, кроме переводов, лишь один стих ее. Старый, 20-летней давности. Но критика не пройдет и мимо него. «Меланхолические причитания Цветаевой», - напишет в «Известиях» некая Мирлэ. А когда сгоряча ей предложат издать книгу, то сборник совсем не сгоряча «зарежет» Корнелий Люцианович Зелинский, добрый вроде бы знакомый по Голицыно, но литератор, кого все звали Карьерий Подлюцианович! «Стихи с того света, - напишет во внутренней рецензии. - Клиническая картина искривления и разложения человеческой души... книга душная, больная... Советская поэзия ушла далеко вперед...» И резюме - «худшей услугой Цветаевой было бы издание именно этой книги...» «Сволочь Зелинский! - спокойно отзовется на это Цветаева. - Я это говорю из будущего». Мы из будущего, «прочитав» ее жизнь и его, можем добавить - редкая сволочь!..

(Из «Рабочей тетради» Цветаевой за 1940 г.):

«Когда меня спрашивают: Почему вы не пишете стихи?.. - я задыхаюсь от негодования. - Какие стихи? Я всю жизнь писала от избытка чувств. Сейчас у меня избыток каких чувств? Обиды. Горечи. Одиночества. Страха. В какую тетрадь писать такие стихи?.. Как я сейчас могу, когда мои... Если бы я этой книгой могла спасти тех... Слава? Она мне не нужна. Деньги? Пойдут кредиторам. А главное, что все это случилось со мной - веселой, живой, любящей... доверчивой (даже сейчас...) За что? И к чему?.. Писать перестала - и быть перестала... Разве это я живу?»

Поэт и толпа - вопрос вечный. Но толпа «официально признанных» поэтов и... поэт - вот проблема наинového времени - социализма. Может, потому Цветаева и выведет бессмертную формулу, отчеканит: «У поэта есть только имя и судьба!..»

Скажет это в 40-м. Просто накануне Сталин мановением руки дал ордена 172 писателям и поэтам. Цельнометаллическим «классикам» Асееву, Павленко и Фадееву дал ордена Ленина, Кирсанову и Сельвинскому - Трудового Красного Знамени, а «Знаком Почета» отметил даже студентов еще: Симонова, Долматовского, Алигер. Против их имен тоже стояло, я проверял: «За выдающиеся успехи и достижения в развитии литературы». Каково? Обнесена была, как я говорил уже, совсем уж «мелочь»: Ахматова, Пастернак, Булгаков, Платонов - самые могучие деревья русского слова. Вот тогда Цветаева и усмехнется, как с Марса: «Награда за стихи из рук чиновников! А судьи кто? Поэт орденосец! Поэт медаленосец! Какой абсурд! У поэта есть только имя и судьба». И чтоб запомнили, услышали и мы, повторит - «Судьба и имя»!..

«Мера, я не уместаюсь. Время, я не успеваю», - щегольнула как-то давно мыслью в дневнике. Теперь ежечасно ощущала: не уместается и не успевает. У нее были имя и судьба, но до них никому уже не было дела. Ей стукнуло 48, а выглядела старухой. «Страшной старухой» назовет ее даже сын. А люди, «нечеловеки» - те мерили ее, как водится, по себе. «Чернокнижница», «концентрат женских истерик, «ведунья, расколотившая к черту все крынки и чугуны», даже «кикимора, которая сейчас кувырнется, пойдет прыгать, бочком, выкинет штучку». Еще одна скажет: «загнанная горем женщина, и уже - впалая грудь». Но добавит, представьте: зато «вся - как птица летящая». Она и впрямь не ходила - летала. Синий беретик, легкий плащ, толстые сандалии, сумочка на длинном ремешке через плечо. Ничего от парижанки. Но и ничего от выдавшей виды москвички тех лет. В письме Берии на полном серьезе просит о свидании с мужем? «Сердечно прошу Вас!» - словно человека умоляет его. Але в лагерь (а она вначале оказалась натурально на лесоповале) пишет: «Не прислать ли тебе серебряного браслета с бирюзой? И какое-нибудь кольцо?» В издательстве, сказав, что хочет пить, не ждет, пока принесут чашку, а, высыпав ручки и карандаши из канцелярского стаканчика, льет воду из графина прямо туда и, не замечая вытаращенных глаз, жадно выпивает ее. Чудачка? Да просто ненормальная! В 4 утра могла не только позвонить знакомому поэту и сказать, что тот забыл у нее носовой платок, но и сорваться ночью, чтобы тут же привезти его. Могла, слушая радио, аплодировать в одиночестве удачным фразам, могла демонстративно бросить куда попало, «как веник, букет цветов, поднесенный ей, а увидев у подруги том Державина, предложить за него нефритовое кольцо и какое-то ожерелье: «раз вы любите эти вещи!..» Боялась автомобилей, эскалаторов, лифтов, пользовалась (если без сопровождающих) только трамваем и метро. Наконец, могла долго говорить о чем-то с простым сторожем, с «блаженной дурочкой», соседкой и, напротив, едким словом отшить «интеллектуала». В этом была «особость» ее - тоже своеобразная вертикаль! - но в этом же и истерзанность души, и растерянность, и жизнь на последнем, истонченном уже нерве.

Реально же у нее было: отсутствие жилья (маклерша, пообещав найти комнату, взяла 750 рублей и исчезла), отсутствие прописки (из-за этого Мур сменит 5 школ), отсутствие известий о муже (на Лубянке вдруг опять перестали принимать и деньги, и передачи), отсутствие работы. Сплошное «нет». Вот когда поняла: «западня» захлопнулась. И вот когда, зная все наперед и ни на что не надеясь уже, послала телеграмму Сталину: «Помогите мне, я в отчаянном положении. Писательница Марина Цветаева». Мур, еще вчера записавший в дневнике: «Мать все время говорит о самоубийстве... По-моему, сошла с ума. Я зол, как черт! Не вижу

исхода. Я больше так не могу... Я больше не могу переносить истерики матери», теперь по-детски тешит свое воображение: «Наверное, когда Сталин получит телеграмму, он вызовет или Фадеева, или Павленко и расспросит их о матери. Увидим, что будет дальше...» Цветаеву действительно вызовут в ЦК, а Мур будет ждать ее под дождем в сквере у памятника героям Плевны. Но ей ничем не помогут, скажут, что могут лишь позвонить в Союз писателей, на который она и жаловалась. Правда, кажется, при ней и позвонят. Так в ее жизни возникнет добрый гений; он найдет ей последнее жилье - комнату на Покровке. Его звали Арий Ротницкий, по отзывам - прямой, честный, чуткий человек. Но знаете, за что в Литфонде отвечал этот румяный «ангел» с эспаньолкой и брюшком, отчего его суеверно обегали даже генералы от литературы? Язык не поворачивается сказать! Отвечал за организацию похорон писателей. Что ж, ей к тому времени осталось жить меньше года.

(Из «Рабочей тетради» Цветаевой за 1940 г.):

«О себе... Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего - себя... Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами - кряк... Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить - мерзость, прыгнуть - враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже - посмертно - боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть...»

Для нее последней «тюрьмой» - «гробом» станет в Москве этот дом на Покровке. «Безымянный», не «цветаевский», ибо на нем и ныне нет памятной доски. Здесь, на 7-м этаже, за окном без штор, в 13-метровой комнате она с сыном и проживет последние 10 месяцев. Те, кто бывал у нее, помнят велосипед под потолком в прихожей, голую лампочку в комнате, одежду на гвоздях по стенам. Что еще? Стол у окна, матрас на чурбаках для сына, топчан из чемоданов для нее. Не парижская даже бедность - просто нищета. Теперь в любых «гостях» она берет что-нибудь со стола и прячет в сумку - сыну. А дома на общей кухне упорно вешает над плитой, кастрюлями и чайниками выстиранные брюки его (он у нее парижский франт!) и возмущается, что это злит соседей. «Сволочи! Они назвали мать нахалкой, - заносит в дневник Мур. - Мать говорит, что может из четырех конфорок располагать двумя»...

С Покровки ходила на встречу с Ахматовой - виделись, кстати, впервые за жизнь. Встречи не вышло, так, коснулись «кончиком ножа души», скажет очевидец. Все у них было и все окажется разным. Но когда спустя годы театровед Павел Громов, друживший с Ахматовой, напомнит, что в Париже Цветаева голодала, Ахматова отвернется: «Не знаю, не знаю - на ней были такие тряпки, что не похоже, что ей плохо жилось!..» Такой вот загробный «привет» от сестры по несчастьям. А ведь в июле 40-го года Цветаева и Мур до 4 утра стояли в очереди, чтобы купить вышедшую тогда книгу стихов Ахматовой и не раз слышали потом: «Раз Ахматовой можно книгу, то почему нельзя Цветаевой?» А вот нельзя и все! Может, потому, что только она, единственная (!!!) ни разу, как действительно великая, не солгала словом, не написала, как Мандельштам, Пастернак и та же Ахматова стихов в честь Сталина или власти. А ведь жилось ей, мягко сказать, похуже их. Это тоже факт! И тоже навечный. «Равенство дара души и глагола, - сказала, - вот поэт», и добавила: «Конечно, быть человеком важнее, нужнее. Врач и священник нужнее, они у смертного одра, не мы... Посему мне прощенья нет. С таких на Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слова - на нем я чиста». Святая правда! Чиста, как чист ныне только Пушкин.

Наконец с Покровки, за четыре дня до войны - последней катастрофы ее - ездил в Кусково с сыном, с поэтом Крученых и Либединской Лидой - тогда девочкой еще. Все они сохранились на предсмертной фотографии Цветаевой. «Катались на лодке, - запишет в дневнике Мур, - пили кефир, сидели в садике, около беседки, снимались, как буржуи-мудилы, фотография чудовищная, как и следовало ожидать...» Цветаева была в белых резиновых туфлях со шнуровкой, совсем без каблучков и в простом из сурового полотна платье. Лида Либединская, впервые видевшая ее, запомнит, что в Шереметевском дворце, в музее, Марина Ивановна скажет спокойно: «Хороший дом, хочу жить в нем!», а про портреты старинных красавиц на стенах неожиданно заметит: «Не люблю вещей за то, что они переживают своих хозяев». Послушает стихи Лиды, тут же мастерски поправит их, предложит ей учить ее французскому языку и, заметив замешательство ее, успокоит: «Конечно, совершенно безвозмездно». Но меня из всех заметок про этот летний день больше всего поразит, что, когда они на лодке доберутся до какого-то островка, Цветаева ляжет на траву и, закинув руки за голову, будет долго глядеть в небо. Последняя безмятежность. О чем думала, глядя на облака? О прошлом, о будущем? Французским, кстати, предложила Лиде заняться прямо с понедельника, но в воскресенье началась война. Ее агония.

(Из «Рабочих тетрадей» Цветаевой):

«Эпоха не против меня, я против нее. Я ненавижу свой век из отвращения к политике, которую за редчайшими исключениями считаю грязью. Ненавижу век организованных масс. И в ваш воздух, машинный, авиационный, я тоже не хочу. Ничего не стоило бы на вопрос - вы интересуетесь будущим народа? - ответить: - О, да! А я отвечаю: нет, я искренно не интересуюсь ничьим будущим, которое для меня пустое и угрожающее место. Я действительно ненавижу царство будущего...»

Будущего у нее уже не было. Был обморок, морок, мор, рок. Одно слово, вместившее все. Вой сирен, бомбоубежища, страх за Мура, тушившего зажигалки по ночам на крыше дома на Покровке, судорожная сушка моркови по всем радиаторам для Али, в лагерь («можно заварить кипятком, все-таки овощ»). И кружение бессмысленных уже хлопот с квартирой, из которой вновь, из-за войны, изгоняли хозяева («Милые правнуки! И у собаки есть конура»). И как напишет в дневнике Мур: «Литфонд - сплошной карусель несовершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым, и Фединым». И, как итог, хаос души ее, победивший гармонию, когда она, по словам знакомой, стала уже, «как провод, оголенный на ветру, вспышка искр и замыкание». То есть тьма!

Но мне, уходя из ее дома на Покровке, все вспоминалось одно: как еще в первую бомбежку к ней, в квартиру под самую крышу, поднялся всего лишь управдом (всего лишь проверить затемнение!), а она, ничего не соображая уже, вдруг встала спиной к стене и, молча, крестом раскинула руки. Замерла в неопишемом ужасе... «Я всех боюсь, всех...»

«Не похороните живой!..»

(Из письма Цветаевой поэтессе Вере Меркурьевой):

«Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя не виню... это судьба... Я не могу вытравить из себя чувства права... Мы - Москве - задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?.. С

переменной мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня - все меньше и меньше... Остается только мое основное нет...»

8 августа 41-го года от причала Речного вокзала отошел пароход «Александр Пирогов». Он был еще «колесный», из того еще, старого времени, откуда была и Цветаева. Но отплывала она на нем в свое будущее - в вечность: «Я ведь знаю, как меня будут любить через 100 лет». Ровно через 23 дня, 31 августа в далекой Елабуге покончит с собой. Повиснет в петле в том самом синем фартуке, который, вернувшись в СССР, надела, как хомут. «За царем - цари, за нищим - нищие, за мной - пустота...» Вселенская пустота. Не она в петле повиснет, нет, земной шар - можно ведь и так сказать - повис у нее под ногами. Ее вертикаль, пусть и так, но победившая унылую равнину мира.

За пять минут до смерти напишет: «Не похороните живой! Проверьте хорошенько!» Последние слова, доверенные бумаге. А за три дня до смерти скажет: «Ничего не умею». И как о чем-то далеком вспомнит: «Раньше умела писать стихи, но теперь разучилась». Конечно, разучилась, ведь стихи, «княжество слов», как сказал кто-то, «пишутся неоскорбленной частью души». У нее, у царицы поэзии, не часть - вся душа была истоптана уже сапогами обид, унижений и гнева...

«Мурлыга! - написала в прощальной записке сыну. - Прости меня, но дальше было бы хуже. Я, это уже не я. Люблю тебя безумно. Передай папе и Але - если увидишь, - что любила их до последней минуты, и объясни - попала в тупик...» Оставила еще два письма тем, кто в последний раз предал ее уже в Елабуге - писателям. Хотя и им, и даже нам могла ответить одной, уже вбитой в историю фразой: «Между вами, нечеловеками, я была только человек!..»

Первый человек в нации, в литературе, в поэзии. Первый - в XX веке.



**Die Tolstoi-Bibliothek wird gefördert durch
den Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien.**

Die Tolstoi-Bibliothek ist auf Spenden angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns durch eine steuerlich
abzugsfähige Spende auf unser Konto:

Толстовская библиотека нуждается в пожертвованиях.
Все пожертвования списываются с налогов:

Nr. 78 24 302 (BLZ 700 205 00)
Bank für Sozialwirtschaft, München
Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk, e.V.

